

10-203к 7



М. Шошин

Петраевский
МЕЛЬНИК

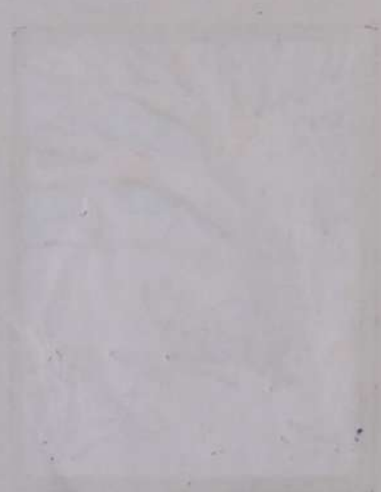


ИВГИЗ 1943

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS



82 К. 10-203.

М. ШОПИН

ПЕТРЯЕВСКИЙ МЕЛЬНИК

94

ОТ ИЗ

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1943

-- 2010





Петряевский мельник

Командир десантного отряда вызвал к себе ночью Тихона Ершова и послал его в штаб части. Это был скромный и незаметный боец лет тридцати. На него, как на местного жителя, знающего в этих местах каждую ложбинку, каждый холмик, пал выбор командира.

Тихону предстояло пройти сквозь расположение немецких частей, пересечь линию вражеской обороны и доставить донесение. На обратном пути ему поручалось показать самый удобный и безопасный путь обхода укрепленного узла сопротивления.

— Ни на одну минуту не забывай, что от этого зависит успех всей операции, — сказал ему на прощанье командир.

Десантный отряд должен был соединиться со своей частью после завершения этой операции. Командир добавил:

— Увидимся, когда уничтожим в этом районе немцев.

Ершов надежно убрал пакет, повесил на грудь автомат, встал на лыжи и двинулся в путь. Время за полночь, но Тихон шел не торопясь. Потомственный крестьянин, он умел с расчетом тратить силы и некоторый запасец их всегда приберегать на всякий непредвиденный случай. Путь опасный и дальний, многое может приключиться.

Ершов шел знакомыми местами. Проходил леса, перелески, овраги, ложбины, поля, припоминал их названия. Вот сюда он ходил за грибами, за ягодами. Здесь он пахал и сеял. К этой одинокой кудрявой березе пряными летними вечерами прибегал на свидание к своей любимой, которая впоследствии стала его женой. Тянется бесконечная вереница заснеженных ветел, похожая в потемках на снежный вал. Это правый берег речки, которая неугомымо петляла, делала резкие пово-

роты и где-то далеко вливалась в широкую реку, впадающую в могучую Волгу.

Речка была узенькая, но многоводная, омутистая, капризная и рыбная. Ее ласково звали Внучкой. Внучка великой русской реки.

На своем пути, а Ершов выбирал насколько возможно путь короткий, он уже пересек ее два раза. В деревне Петряево на Внучке стояла мельница. Там Ершов жил в просторном приделке к мельнице с женой и маленьким сыном. Он работал мельником, ловил в омутах рыбу, разводил породистых гусей. Уж очень места тут для птицы кормные. Гуси выгуливались чуть ли не с барана.

Счастливые были времена. А жена у него какая хорошая. Она работала председателем колхоза. Ему не стыдно признаться, что она дельнее, активнее его. Он замкнут и необщителен. По характеру ему в колхозе подобрали и работу. На мельнице, в стороне от людей, он чувствовал себя превосходно. Она, человек веселый, с неудержимой кипучей деятельностью, лучше чувствовала себя в самой гуще коллектива. Нередко среди рабочего дня она заглядывала на мельницу.

— Официальное посещение? — сдерживая усмешку, спрашивал Тихон. — Ну, давай, руководи мельником.

Ах, какое это было чудесное время. Увлеченный воспоминаниями, он как-то незаметно для себя дал порядочного крюку. Сначала ему нестерпимо хотелось узнать, сохранилась ли петряевская мельница, а потом стало казаться, что путь через мельницу самый безопасный.

Он подошел к Петряеву ранним утром. Над деревней вставал унылый бледный рассвет. Сквозь мертвый морозный туман проглядывали заснеженные деревья, крыши изб. Из деревни не доносилось ни голосов, ни скрипа ворот. Ни одного утреннего дымка не подымалось из труб. Петряево казалось мертвым. Ершов замерзшим руслом Внучки подобрался к мельнице и огляделся. На дороге, которая спускалась от Петряева к реке, валялись разбитые автомашины, орудия и трупы немецких солдат. На одной из автомашин еще что-то дымилось, трупы не запорошены снегом, все говорило о том, что истреблением немцев кто-то здесь занимался совсем недавно, видимо, этой ночью. Двери на мельницу и в приделок, в котором жил Ершов с семьей, были раскрыты, снег вокруг мельницы вытопан. Никаких признаков жизни вокруг он не заметил.

„Уехала, наверно, — подумал он о жене, — скрылась“ Двинулся дальше по руслу Внучки, которая огибала Петряево полукругом. Здесь ветлы обступали реку с обеих сторон, к ветлам намело сугробы снега, так что пройти тут, слегка пригнувшись, можно было незаметно. Вот он обошел деревню. Недалеко лес. Можно свернуть в него и двигаться быстрее.

Но позади его послышались голоса, хруст снега. Ершов залег под ветлой, потом осторожно приподнялся над сугробом и огляделся.

На окраине деревни, где стояли колхозный клуб и детские ясли, немцы вели под усиленным конвоем троих русских — одну женщину и двух мужчин. Местоположение клуба и яслей обозначали теперь черные пожарища, выглядывающие из-под снега.

Тихон взгляделся в фигуры колхозников и узнал всех троих. Это были его, Тихона, жена Анисья — председатель Петряевского колхоза, хромой на одну ногу кладовщик Черемин и конюх из соседнего колхоза Матвей Матвееч. „Попались, — догадался Тихон, — расстреливать будут“.

В горячке он схватился за автомат, вскинул к плечу, приладился стрелять, но какая-то внутренняя сила неожиданно ослабила его руки. Его обнаружат, если он откроет огонь, бросятся в погоню, могут подстрелить и захватить. Тогда он провалит дело, боевая операция не состоится, десант окажется в тяжелом положении, там могут погибнуть сотни, из-за троих близких людей будет сорвана важная операция, и немцы останутся в его родном краю.

Он приподнял голову. Немцы медлили... Из деревни фашисты гнали большую группу жителей. „Для устрашения ведут“, — мелькнуло в мыслях. Он уткнулся лицом в снег, чтобы не видеть, забыться... Ему пришел на память один день из его жизни...

Весна. Половодье. Ночь. Ершовы спали. Мельница неожиданно как-то крикнула и качнулась. Анисья толкнула мужа локтем:

— Слышишь, что Внучка делает.

Одно мгновение Ершовы вслушивались. В шкафчике задребезжала чайная посуда. Тихон вскочил, сунул ноги в валенки, накинул на себя полушубок и без шапки выбежал на волю. Под напором воды плотина стонала. Резкий теплый ветер вздыбил волосы на голове Тихона, распахнул шубу, толкал назад.

Тихон мелкими шагами вбежал на обледенелую плотину и отчаянным напряжением всех сил открыл первый щит. Вода хлынула, и с ней большая льдина, невидимая в темноте, незаметно подползла к Тихону и толкнула его на край плотины. Вскочив на нее, он бросился к берегу, но поскользнулся и упал. Льдина вздыбилась и с треском раскололась. На один миг он увидел полу своей распахнувшейся шубы и воронку бурлящей воды, которая дохнула ему в лицо холодом... Анисья ждала его пять, десять минут... Тихон не возвращался и не подавал голоса. Анисья наскоро собралась и вышла. Тихона не видно. Резвая река разворотила плотину, шумела, вертела...

Анисья закричала громко, призывно. Вгляделась в крутой водоворот. Вода неслась кипящими волнами. Анисья в тревоге побежала берегом, вглядываясь в темноту, готовая каждую минуту броситься на помощь.

Она забыла о себе. Впереди возле берега показалась голова и скрылась. Анисья вгляделась. Вновь показалась голова человека и исчезла. Вода то на миг отступала, то опять заплескивала голову мужа. Река, смахнув мельника с плотины, провернула его в бешеном круговороте водопада и, затихая на разливе, выплеснула на пологий берег.

Анисья на руках принесла мужа в избу, раздела его, укутала шубами, поила чаем, растирала грудь... Об этом происшествии, хлопотах и заботах жены приятно было вспомнить, к сердцу подступало тепло. На один миг показалось ему, что сейчас перед ним только страшное видение, которое вот-вот рассеется от сладких воспоминаний о счастливых днях.

Но послышались лающие окрики немецких солдат. Они кричали и толкали прикладами жителей Петряева, не желающих близко подходить к месту расстрела. И страшная действительность вновь встала перед ним во всем ужасе. Эти поганые изверги расстреляют его жену... От волнения и жажды мщения он задрожал и почувствовал, как влажнеют его глаза, застилаясь туманом, и руки сами тянутся к автомату. Надо действовать немедленно и решительно. Опытным глазом фронтовика он стал прикидывать, что можно сделать, чтобы вырвать из лап смерти жену и ее товарищей и самому уцелеть, добраться до штаба. Вот этих немцев, что стоят справа и слева, он может сразить наверняка... Но как быть с теми, что стоят за спиной Анисьи, Че-

ремина, Матвей Матвееча, и с теми, что подгоняют прикладами петряевцев. После первых же выстрелов немцы залягут и начнут отстреливаться, могут окружить. Он готов с ними сражаться один, погибнуть, но не ему одному принадлежит его жизнь. Его послали, возложили на него все надежды. Невидимыми нитями родства, единой цели и ответственности он связан с тысячами жизней бойцов, командиров, с петряевцами, с жизнью всей страны.

— Анистья, — хотелось крикнуть ему. — Я здесь, но я не могу спасти тебя, я должен хорошо исполнить порученное мне дело. Жена, — подумал он, — так бы ответила ему: „Иди, Тихон, хорошо делай свое дело. Прощай“. Именно так сказала бы она, умная, бесстрашная женщина. Слезы навернулись на глаза, и первый раз в жизни он заплакал.

Горячие слезы падали в снег, прожигая в нем крошечные ямки... До боли в руках сжимал он свой автомат, хотелось пустить в немцев горячую очередь свинца, вырвать жену из лап смерти, но сознание ответственности останавливало его.

Раздался высокий женский голос: „Скоро придет конец вам, гады“. Это крикнула Анистья... Жена. Раздались выстрелы. Множество выстрелов... Как будто немцы расстреливали не троих, а сотню. Ершов приподнял голову. Его жгло внутренним огнем ненависти и волнения. Там, где он припадал в снег пылающим лицом, блестела ледяная корочка. На снегу лежали три трупа. Жители Петряева — старики, старухи, дети понуро уходили в деревню. Их гнали теперь назад немецкие солдаты, укутанные в шали, платки, шарфы, отнятые у петряевцев.

Когда околица опустела, Ершов ползком добрался до леса и там встал на лыжи. Теперь он подвигался быстро. Огромное чувство возмущения толкало его вперед, придавало сил. В середине дня он прибыл в штаб части. Его накормили и послали выспаться. Но ему не спалось, сердце горело в тревоге и жажде мести. Вечером часть выступила. Ершов провел ее в обход вражеского узла сопротивления так ловко, что немцы не заметили движения. Перед утром наши войска ударили на немцев с фланга и тыла. Ершов бил немцев с особенной яростью, он мстил, устилая петряевские поля их трупами. После боя Ершов обратился к комиссару:

— Разрешите сходить в Петряево... Надо мне похоронить жену и разыскать сына.

— Что такое там произошло? — Красноармеец рассказал все, что видел, пережил вчера утром. Комиссар удивился, какой силой воли, каким мужеством обладает этот простой малоразговорчивый человек, и решил пойти с ним. Они заглянули на петряевскую мельницу. В приделке, где жили Ершovy, пол был усеян осколками стекол, обрывками бумаги. В комнате ни одежды, ни мебели, ни белья. В углу куча соломы. Из нее выглядывала шапка. Комиссар склонился и поднял ее. Показались спутанные белесые волосенки детской головки. Солома шевельнулась, — выглянуло детское личико.

— Санька-а, — вскрикнул Тихон.

Мальчик стал вылезать из соломы. Отец поднял его на руки и крепко-крепко прижал к себе.

— Маму убили, — сказал мальчик, — я сам видел.

Его бледное грязное личико выглядело не по-детски серьезным, глаза смотрели твердо и скорбно.

Партизан — Анисью Ершову, Черемина и Матвея Матвейча, захваченных немцами и расстрелянных, красноармейцы похоронили с воинскими почестями. Сына Тихон устроил к родственнице старушке.

— Папа, — сказал семилетний сын, — я... я не останусь один... Я пойду с тобой.

— Нет, нет, — неожиданно смешался Тихон, и спазма сдавила ему горло, — ты здесь меня подожди... Я прогоню немцев и вернусь... Мы с тобой мельницу пустим, рыбу ловить будем, гусей бо-ольшущих вырастим...

И Тихон широко развел руками, показывая сыну, каких они вырастят гусей.





Никита Кобозев, по прозвищу „В понедельник нажмем“, лежал на печи, в дальнем углу, зарывшись в разное тряпье. Спина его, исполосованная, искрещенная немецкими шомполами вдоль и поперек, больно ныла, сердце грызла тоска. От обиды и скуки ему не лежалось, он прилаживался лечь как-то поудобнее, но каждое движение причиняло боль.

Дверь резко отскочила от косяка, и в избу быстро вошел мальчик лет четырнадцати. Из-под шапки, сдвинутой на сторону, выбивался заиндевший клочок волос, глаза хитровато прищурены. Он был чем-то сильно возбужден и придирчиво оглядел все углы в избе.

— Кто там? — еле слышным голосом спросил Никита.

Мальчик одним махом взобрался на печь и вплотную прилепнулся к Кобозеву. Никита не сразу узнал его.

— Племянник... Вася... — Ты это? Вот спасибо — навестил меня, родной мой.

Но Васе некогда было вдаваться в нежности, он сразу заговорил о деле:

— Дядя Никита, за Кулигами пушечки поухивают... В большой-то автомобиль немцы впрягли двух лошадей и повезли куда-то. Припасы перебирают, которые грузят на подводы, которые в другие места перетаскивают. Из нашего сарая гранаты увозят. Немцы меж собой на улице драку затеяли. И те, которые гранаты грузили, бросились туда. Один из ящиков я в сторону оттащил и снежком засыпал. Может не приметят, оставят... Я бы их и угостил на прощанье.

Никита, забыв о боли в спине, приподнялся и принял к мальчику.

— Погоди-ка... Я уж отвык смеяться-то... Давай разберемся по порядку. Так ты думаешь — наши идут?

— Идут, дядь Никита.

— И недалеко отсель?

— Факт. К Кулигам подходят.

Никита облегченно вздохнул и принялся креститься, говоря:

— Кулиги отсель рукой подать... Считалось попрежнему девять верст. Ну, а Ниткин что делает?

— Совсем бешеный... Мечется по селу, Анну Ситнову только что пристрелил.

— Ах, собака... Да за что же это?

— Она пол примывать взялась, скрести все, а Ниткин и налетел: „Своих ждешь?“ Анна усмехнулась, да на свое несчастье и скажи: „Наши чистоту любят“. Рот у него перекошило, он взбесился и бац в нее.

— Вася, — умоляюще заговорил Никита, — удели ты мне пяточек гранат. Нужно мне. Ты сам знаешь — Ниткин-то мне „крестник“, никак я не могу его из села выпустить. Надо мне с ним поговорить с гвоздем, так, чтобы каждое слово ложилось, как гвоздем прибитое.

— Постараюсь, — пообещал племянник. — У них суматоха поднялась — им за всем не углядеть. Я хочу еще ихний пистолетик ухватить.

— Старайся, но осторожнее, не влопайся напоследки-то. Они теперь перед уходом злее собак.

— Ничего, дядь Никита, мы тоже кое-чего смекаем. Мальчик ушел.

Никита прислушался к звукам, доносившимся с улицы, и стал потихоньку собираться. Одевшись, он притаился на печи в углу и стал ждать вечера. „Ночью бесприменно наши нагрянут, — думал он. — Ну, прощай, Ниткин, хватит, пожил в одной деревне полтора месяца, расставаться пора“.

Ему вспомнилось, как немцы пришли в деревню, как на другой день его вызвал немецкий офицер, худой, высокий, сутулый, с холодным, злым выражением лица. „Собачья морда“, — подумал Никита, увидев его острый подбородок, далеко выдававшийся вперед, выпяченные бескровные губы и длинный прямой нос, слившийся как-то в одно с губами и подбородком. Он немного говорил по-русски:

— Никит Кобзе? — быстро спросил немец.

— Похоже, — нехотя отозвался Никита.

— Что такой похоже? — вскинулся офицер.

— Слова, говорю, похожие на мое имя выкрикиваешь.

— Заем подпись не дал?

— Верно, отказался... — „Какая-то стерва все ему про меня рассказала“, — мелькнуло в голове.

— Работа плохо?

— Да не хвалили.

— В понедельник нажмем?

— По понедельникам, — когда приходилось нажимал, а когда, бывало, и на базар укатись.

— Карош, — одобрительно заключил офицер, — будешь староста.

Никита вмиг как-то весь отвердел, приподнял плечи и громко ответил:

— Не буду.

— Будешь. Так сказал немецкий офицер Курт Ниткер.

— А мне все равно хоть Ниткин, хоть Веревкин, я сказал не буду, стало быть, не буду. Я такой — меня не своротить. Не буду и не буду. Сказал — отрезал.

Офицер что-то крикнул. Дело происходило на улице. Солдаты схватили Никиту, свалили на землю, долго секли. Ночью он уполз в свою избу, залег на печь и не показывался нигде. За эти самые мрачные дни своей жизни он все припомнил, все передумал. Прошлая жизнь в колхозе ему теперь казалась одним сплошным светлым днем. Он не умел пользоваться в полной мере всем счастьем той жизни и теперь бранил себя. Ему нравилось тогда изображать из себя упрямого, вздорного, самого несознательного мужика. Это доставляло ему некоторый род славы, он был на виду. С ним было принято обращаться особенно деликатно, за ним ухаживали, старались перевоспитать. С этой целью одно время его поставили бригадиром, но Никита не оправдал надежд, не проявил себя. Бригада отставала. Когда ему указывали на отставание бригады в каком-нибудь деле, он обычно отвечал так:

— А вот уж мы в понедельник нажмем.

И это „в понедельник нажмем“ стало его прозвищем.

...Наступил вечер и тянулся нескончаемо долго. Покосившиеся окошки старой кобозевской избы сначала были серыми, потом темнели-темнели и стали совсем черными. Вдруг озарились мертвенно голубым светом — немцы пустили ракету. Долго с улицы не доходило никаких звуков, будто не было там ничего живого. „Такая тишина, что с ума сойти можно“, — подумал Кобозев. И он очень обрадовался, когда тихо скрипнула дверь, и он различил сильное молодое дыхание племянника.

Паренек на этот раз на печь забрался тяжеломерно и осторожно.

— Принес? — шопотом спросил Никита.

— Держи... Мало, так еще принесу. Немцы залегли, попрятались, ждут... Машину Ниткина в птичник вкатили, бензином заправили... Удерет он в один момент, ты и не увидишь...

— Я буду глядеть в оба.

Кобозев оделся, рассовал по карманам гранаты и вместе с племянником вышел на волю. У двора они легли за высокий сугроб и затаились.

Слух их не улавливал никаких звуков, но за этой тишиной угадывалось большое движение. И вдруг в небо взвилась ракета, неистово затукали немецкие пулеметы.

— С чего это они взбесились? Кругом еще все тихо, — сказал Вася.

— Слышишь — наши кашляют, — сказал Кобозев, — немцы в ту сторону по „кашлю“ бьют.

Пулеметы смолкли. Вася и Никита лежали, вслушивались. „Кашель“ послышался с другой стороны. Ракеты взвились в двух концах деревни. Вновь забили пулеметы.

— Под каменным-то домом у них штуки три, видно, поставлено. Сползай, Вася, швырни туда им парочку, чтобы заткнулись.

Они расстались. Никита пополз по задворкам на околицу деревни.

У одного из домов он увидел немца. Проваливаясь в глубокий снег, он тащил ящик с минами. Солдат дошел до ледяного вала, который немцы устроили на берегу реки. Кобозев полз вслед за ним и вскоре увидел группу немецких солдат, копошившихся около мины.

Никита подполз ближе и метнул гранату. Вместе с ней взорвались принесенные солдатом мины.

Никита вскочил, побежал и, скрывшись за сарай, огляделся.

Его никто не преследовал, и он оживился. „Они боятся, не выходят даже узнать, что произошло“.

У каменного дома один за другим раздалось три взрыва. „Васюха старается“ — подумал Никита. Сразу же после этого немцы со всех сторон открыли ураганный огонь. Наши не отвечали. Никита добрался до того места, где дорога делала резкий поворот, уходя из де-

ревни в поле, и залег в снегу. Лежал долго и чутко вслушивался во все происходящее вокруг. Сбоку от себя он слышал шум. В деревню шел танк, окрашенный в белую краску. На нем сидели бойцы. „Наши наступают“, — подумал Кобозев и повеселел.

В деревне началась отчаянная пальба, взрывы гранат, и вскоре группы немецких солдат побежали по дороге.

Никита привстал и метнул гранату. Первый ряд немцев повалился, остальные разбежались и открыли пальбу вдоль дороги. „Путь себе расчищают“ — усмехнулся Никита. Но вот и немецкая легковая машина. Она мчалась на полной скорости. На повороте шофер не сумел ее развернуть, она врезалась передними колесами в снежную целину, забуксовала. „Теперь она в моих руках, — сказал себе Никита, — я ей зад отшибу, она тут сядет, и с Ниткиным я поговорю“.

Кобозев бросил гранату. Она упала туда, куда он метил, — недалеко от задней стенки автомобиля, но прискочила и шмыгнула в снег.

Шофер в это время дал задний ход. Граната разорвалась под автомобилем, который как-то подскочил и глубоко осел в снег.

— Эх, ты чорт, — выругался Никита, — Ниткина-то я, наверно, укокал.

Немцы, видя, что дорога непроходима, бежали в лес.

Утопая по пояс в снегу, Кобозев долго гнался за ними, бросил им вслед последнюю гранату. Потом остановился, перевел дух и пошел обратно. По дороге заглянул в автомобиль и обнаружил три трупа: двух офицеров и шофера. Одним из офицеров был ненавистный Курт Ниткер, которого Никита именовал Ниткиным.

Кобозев поглядел на труп, плюнул и, сутулясь, устало пошел в свою избу.

Утром его навестил племянник. Никита сидел, задумавшись, у стола с веником в руке.

— Немцев вышибли, в деревне чисто, — радостно сообщил паренек.

— Я тоже вот хочу избу подмести, чистоту навести, — приподняв в руке веник, сказал Никита. — А Ниткина я, брат, по неосторожности ухлопал.

— А для чего беречь-то надо было его?

— Хотелось мне ему в назидание сказать: „Не след

мол, вам, вшивикам, в наши дела совать свой собачий нос. То да се. „Карош... Будешь староста...“ Черта с два. Да я... Да нешто я не русский. Да теперь если, так на колхозной работе люди не узнают меня, впереди всех пойду.

И Никита в приливе решимости постучал кулаком в исхудалую от голода и всего пережитого грудь свою.



Увасистелнае причина

По узкой проселочной дороге шел паренек в красноармейской шинели, в новой серой шапке с ушами. Он шел медленно, устало, слегка прихрамывая.

По белому снежному полю кудрявилась поземка. Ветер доносил запах гари. Вдали зачернело. Показались закоптелые остовы труб, голые опаленные деревья и кое-где крыши сохранившихся изб.

Паренька догнал на дороге старик.

Некоторое время он шел рядом, искоса поглядывая на маленького красноармейца.

Потом сразу, как-то обрадовавшись, спросил:

— Сергей, ты ли это?

Маленький красноармеец, совсем еще мальчик, окинул взглядом неожиданно возникшего перед ним спутника, и миг его бледное, усталое лицо оживилось, покрылось румянцем. Он так обрадовался, что подбежал к старику, обхватил его руками и прижался щекой к поле засаленного кобуха.

Старик ласково погладил мальчика, потрепал заскорузлой рукой по щеке. Пошли дальше. Разговорились.

— Многих наших сельских в живых нет... Немец зверствовал, особенно перед уходом. Домов сколько сожгли... И ваш сгорел. Мамаша твоя у кого-то приютилась. Придешь в село — поспрашивай — скажут.

— А школа сохранилась?

— Школу немец перзей всего поджег... Там у него свои раненные лежали... Так прямо с этими ранеными, окаянный, и спалил.

— Ребята теперь не учатся?

— Учатся... Как же не учиться. Давно в школу бегает. Семен Семеныч в колхозной бане школу оборудовал. Как немца выгнали, так и занятия начались. Семен Семеныч да две учительницы чудом сохранились. Остальных немцы с собой угнали, может еще вернутся. Весь день теперь учатся. В три смены шпарят. Ты

уж много уроков пропустил. Тебе бы надо пораньше домой-то... Ты где же пропадал?

— В армии служил.

— Чего ж ты там делал такой малолетний?

— Разведчиком был.

— В разведку, стало быть, ходил?

— Неоднократно, — ответил мальчик словом, слышанным в штабе.

— И толк от этого был?

— Хвалиться не буду, но командир благодарил.

Сережа Бычков был смелым разведчиком.

Первый раз он появился в части командира Кондакова с известием, что в поле, далеко от населенного пункта, застрял немецкий обоз. Мостишко через ручей что-то подпилил, и головная машина рухнула, воткнувшись передней частью в его узкое, но глубокое русло. Движение приостановилось. Немцы старались разбитую машину убрать, навести переход. Туда были посланы наши автоматчики. Мальчик показывал им дорогу. Обоз был захвачен.

Не один десяток верст прошел Сережа Бычков с частью Кондакова. Его не раз посылали в разведку. Он незаметно пробирался в населенные пункты, быстро сходил с ребятами. Дети знали все о положении врага в деревне. Он узнавал от них ценнейшие сведения, главное сам оглядывал и возвращался в штаб.

Часть, в которой служил Сережа Бычков, выдвинулась к городу, окружила его.

Между пригородным поселком, где находились наши войска, и городом пролегла широкая равнина. Посреди нее стояла крупная зенитка, оставленная немцами. Немцы предпринимали попытки перетащить ее к себе, но дело каждый раз кончалось тем, что на снежной поляне появлялись новые черные кочки из фашистских трупов. Сережа долго вглядывался в эту пушку, сообщал, высчитывал и, наконец, сказал командиру:

— А я ее перетащу бы... Разрешите, товарищ майор. Я маленький... В белом халате я белой мышкой подползу к пушке, накину петлю на ее тяж, а бойцы здесь за концы каната возьмутся и потянут ее.

„К грузовику можно прицепить и перетащить в один миг“, — подумал майор.

— Как бы не ухлопали тебя, — сказал он. — Смотри! Осторожнее!. Чтобы проползти точно, как белая мышь.

Через некоторое время мальчик в белом халате пошел к орудию.

Никакой острый глаз не мог бы заметить его на снежной равнине. В снегу оставался неглубокий ровик. По ровику тянулся за ним канат.

Подкравшись к орудию, Сережа скрылся за колесом и накинул петлю. Потом по своему же следу отполз обратно.

И вот наступила веселая, занимательная минута. Грузовик тихо двинулся, натягивая тресс. Пушка слегка развернулась, как бы оглядывая окрестность, постояла на месте, словно раздумывая, и вдруг на глазах обалдевших немцев быстро покатила в нашу сторону. Сережа был вне себя от восторга. Он хлопал в ладоши, подпрыгивал, хохотал.

— Удирает от немцев!

— В плен сдаваться пришла!

— ...А прихрамываешь ты отчего? — спросил Анисим.

— Немцы подстрелили. Возвращался, понимаешь, из разведки... Перешел линию фронта... Вот уж рядом свои... И тут немцы меня заметили, открыли стрельбу. Вдруг как бы кто поленом мне по ноге шаркнул. До своих-то я еле дополз. Отправили меня в госпиталь. Месяц лечился.

Они вошли в село. На черных остовах печей, на каменных столбах, оставшихся от сгоревших построек, лежали пухлые шапки снега.

На месте пожарищ неожиданно, как из-под земли, появлялись люди.

Мальчик этому был очень удивлен и вгляделся пристальнее. Люди накопили землянок и жили в них. Дома сохранились каким-то чудом в той части села, которая находилась за рекой.

На реке стояла колхозная баня. Она осталась невредимой только потому, что стояла в неприметном месте. Они как раз проходили сейчас мимо ее.

— Зайди к Семену Семенычу — повидайся, — сказал старик. — Признаться, он тебя разыскивал, спрашивал всех, но никто не знал, куда ты исчез. И в убитых тебя не было.

— Я и то думаю — зайти. Ну, пока, дядя Анисим. Увидимся.

— Теперь-то увидимся, беда миновала. Катай.

Сережа свернул в сторону и торной тропинкой, протоптанный школьниками, спустился к реке.

Он вошел в колхозную баню, превращенную теперь в школу, и приятное тепло обдало его со всех сторон. Тихо приоткрыв дверь класса, извернулся боком и, задев вещевым мешком за косяк, вошел. Помещение низкое, тесное. Сережа с болью в сердце вспомнил просторную, светлую школу, сожженную немцами. Семен Семеныч сидел за столом спиной к двери и диктовал:

— Хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне. — „Контрольно-повторительная работа, — подумал Сережа, — на перенос слов, это я помню“.

Семен Семеныч не заметил и не слышал, как вошел ученик. Сережа окинул взглядом тесный класс. На стене старые, знакомые ему, кем-то сохраненные географические карты и совсем новенькие плакаты. Классной доски не было. Ее заменяла черная железная плита, на которой сейчас один из учеников писал мелом, она краем стукала о стену и тихо постанывала. Ручки застыли в руках учеников, и десятки детских обрадованных, удивленных взоров устремились к двери. Заметив это, Семен Семеныч быстро оглянулся назад и, увидев маленького красноармейца, пристально посмотрел, не сразу узнав его.

Бычков вытянулся по-военному, отдал честь и звонко проговорил:

— Здравствуйте, Семен Семеныч.

— Здравствуй, Бычков. Мы вот давно учимся. Почему ты школу не посещал, где так долго отсутствовал?

— Я по уважительной причине, Семен Семеныч... Я всегда уроки пропускал только по уважительной причине, — твердо проговорил школьник.

Он расстегнул новенькую шинель, сшитую по его росту в госпитале, достал из кармана бережно хранимую бумажку и подал ее учителю.

Семен Семеныч, не торопясь, прочитал ее, рассмотрел штамп и печать, взглянул даже на обратную сторону ее. В классе стояла такая тишина, что слышно было, как дышит немного с хрипотцей Семен Семеныч.

— Да, причина уважительная, — сказал учитель, — сложил бумажку и убрал ее, — можешь приступить к занятиям.

— Я еще маму не видел, Семен Семеныч.

— Так ты только что с дороги? С мамой надо поведаться немедленно. Иди домой! Гм... Дом-то ваш сожжен... Гм... Ребята, у кого живет его мама?

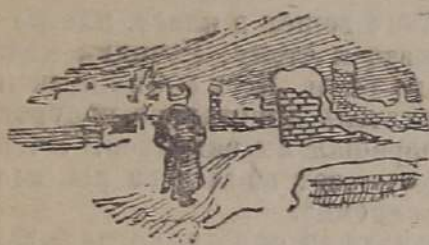
— У Алферовых, — в один голос отозвался класс.

— Вот у Алферовых она... Иди, сейчас же появись.

Учитель волновался. Это было заметно по его голосу.

— До свидания, Семен Семеныч, до завтра, — сказал Бычков.

Он ловко сделал „кругом“, с левой ноги шагнул к двери и вышел.





Сергей Никитич
и
Константин
Петрович



Сергей Никитич вошел в класс, плотно закрыл дверь и тихо проследовал к столу. Ученики медленно и шумно встали, только один Костя Синицын не поднялся. Старый седой учитель пристально и сурово смотрел на учеников, не разрешая им садиться. Ученики прочитали в его взгляде — „вот из-за него мы все вынуждены стоять и терять время“.

Синицын продолжал сидеть, поглядывая в окно. Ученики на задних партах осторожно, незаметно стали садиться. Костя уже торжествовал: „Прошло, я поставил на своем“, но Сергей Никитич громко и властно произнес:

— Встать! Я не разрешал вам садиться.

Ученики встали. Учитель попрежнему спокойно стоял перед ними, ждал, и взгляд его говорил: „Ваш товарищ не уважает ни вас, ни меня“. Сосед Кости Синицына тронул своего приятеля за плечо, дескать, встань, наконец, но Костя только отодвинулся, лукаво усмехнулся всему классу, но встретил такие взгляды товарищей, что сразу поднялся. Класс облегченно вздохнул.

— Садитесь, — разрешил Сергей Никитич. — Синицын, стучать доской нельзя. Запомни! — строго сказал он Косте и после многозначительной паузы задушевно заговорил:

— Сейчас мы займемся географией. Вот за окном мы видим поля, реку, перелески, овраги, холмы, леса... Все это география. Ах, как хороши наши места. Вы любите свою местность? Я тоже очень люблю. Вот так же надо любить географию. Синицын, что ты будешь делать, если запутаешься в лесу?

— Пойду домой.

— Но ведь ты запутался.

— Я найду дорогу.

— Стало быть, ты хорошо знаешь свою местность?

— Всю местность знаю.

— Это хорошо. У дома Ивана Горохова лежит камень. Тумбочка за этим камнем высокая или низкая?

— Низкая.

— Неверно. Там никакой тумбочки нет. Стало быть, свою местность ты не знаешь, заплутавшись в лесу, дорогу не найдешь, и товарищи, которые пойдут в лес доверившись тебе, вместе с тобой пропадут. Садись.

Урок продолжался, становился все более интересным. Сергей Никитич рассказал, как можно отовсюду найти дорогу. Он вытащил из жилетного кармашка компас. Весь класс любовался компасом и узнал, как им пользоваться.

В перемену Сергей Никитич не пошел отдыхать в учительскую. Он стоял у окна класса и смотрел в золотые осенние поля. Костя Синицын на цыпочках подошел к доске и написал: „Слушаться все равно не буду“. Сергей Никитич, не оборачиваясь к нему, сказал:

— Сотри, Синицын. Нехорошо.

„Спиной что ли он видит“, — подумал Костя и пристыженно стер написанное.

Четвертый класс, с которым занимался Сергей Никитич, считался в школе отстающим. За три года в нем сменилось несколько учителей. Последнее время занималась учительница Мая Васильевна. Она слишком старалась развлекать и веселить детей, развивая в них верхоглядство, небрежное отношение к вещам, неуважение к труду. К тому же была безвольна и непоследовательна. Самый плохой ученик класса Костя Синицын, сын председателя колхоза, мальчик избалованный и своевольный, овладел классом. Однажды на экскурсии в лесу он увел весь класс за собой. Мая Васильевна не могла ничего с ним поделать, осталась одна и со слезами возвратилась домой. Потеряв руководство классом, она растерялась и принялась всячески заискивать перед учеником. Оказывала ему везде и всюду предпочтение. Ставила повышенные отметки. В ответ на это он совершенно забросил учебу и целыми днями бездельничал. Мая Васильевна сочла его отстающим и прикрепила ему для помощи Борю Кустова, лучшего ученика класса.

Боря возвращался домой поздно вечером, и когда отец спрашивал его — почему так поздно, он жалобно отвечал:

— Костя только в шесть часов надумал заниматься, а до этого все шалил.

Всему этому положил конец последний случай. Мая Васильевна забыла наглядные пособия и среди урока побежала за ними в учительскую. Вернулась она в пустой класс. Синицын за это время увел через окно всех ребят в поле. Дело обсуждалось на педагогическом совете, занимались им в районе. Мая Васильевна уехала в другую школу, четвертый класс взял на себя Сергей Никитич. Своевольный, самолюбивый Костя Синицын очутился лицом к лицу со старым опытным учителем. Костя сегодня подчинился ему, но тут же решил, что это случилось первый и последний раз. Он попрежнему плохо занимался и хотел верховодить, но постепенно начал замечать, что остается без последователей. Шли дни, учитель уверенно повел класс за собой.

Однажды утром Сергей Никитич пришел в класс радостный, веселый. Не доходя до стола, он уже разрешил ученикам сесть, прошелся между рядами парт, довольно потирая руки. Потом остановился у стола и трепетно заговорил:

— Мне сегодня хочется поделиться с вами одной радостью. Я получил вчера письмо от своего бывшего ученика Федора Ивановича Горина. Он помнит меня, благодарит за науку. Он стал орденоносцем. Я гляжу на вас и думаю — кончите вы нашу школу, поступите в другие учебные заведения, а через несколько лет я узнаю — Александр Травин стал командиром, Боря Кустов — известным садоводом, Миша Горбатов — машиноведом, Настя Окунева — руководителем передового звена в колхозе. Они будут теми, кем хотят быть. Свои мечты осуществляет тот, кто хорошо учится, кто много работает. Многие из моих учеников стали знатными людьми. Я могу назвать вам десятки имен. Да вот недалеко ходить — Антон Синицын, отец Кости, работает теперь председателем колхоза... И неплохо работает. Учился он у меня в школе замечательно. Первым шел. А сын вот, видно, не в него, учится плохо, недисциплинирован... Вот я и поделился с вами своей радостью. Ну, хватит, возьмемся за дело.

Урок прошел живо, ученики ловили каждое слово учителя, но Костя Синицын скучал и косо поглядывал на Сергея Никитича.

Следующий урок начался неладно. Войдя в класс, учитель увидел у своего стола сломанный стул.

— Кто сломал стул? — строго спросил Сергей Никитич.

Класс молчал, слышно было — где-то за школьным огородом тонко проблеяла овца.

— Тот, кто сломал стул, должен сам сознаться, — внушительно добавил Сергей Никитич.

Молчание.

— „Это Костя после временного отступления и замешательства открывает войну“, — подумал он.

— Садитесь.

Ученики сели.

— Кто сломал стул — это неважно в конце-то концов... Жалко мне стула. Он служил в нашей школе очень долго и имеет свою очень интересную историю. Как-то двенадцать лет тому назад его нечаянно сломал мой бывший ученик, — Сергей Никитич произнес эти слова с особым удовольствием, — Федя, теперь Федор Иванович Горин. Правда, он, не в пример некоторым, сразу тогда признался. Это, говорит, я, Сергей Никитич, повредил его... А Федя Горин, мой тогдашний ученик, сидел как раз на той парте, на которой сидит сейчас Костя Сеницын. Как сейчас помню, стоит он передо мною смелый, покрасневшийся: „Я, говорит, его сломал, я его и почию“. Забрал домой его и дня через два принес стул хорошо отремонтированным. Он помнит тот случай до сих пор и в одном из писем спрашивает — жив ли мой стул. Придется ему ответить, что стул больше не существует, мои теперешние ученики не сумели сохранить его.

Костя Сеницын сейчас не знал, куда девать себя, он сидел, боясь взглянуть в лицо товарищам.

Окончив свой рассказ, учитель пристально посмотрел на Костю. Печально вздохнул, сложил обломки стула в угол, вытер руки платком и проговорил:

— Ну, ладно, забудем об этом, начнем работу.

После уроков Костя пришел к учителю на квартиру. Сергей Никитич, расположившись уже по-домашнему, покрутил седые усы, застегнул пиджак на все пуговицы и вышел к ученику.

— Сергей Никитич, — протяжно и виновато заговорил Костя Сеницын. — Это я стул-то... Я его поправлю... Напишите Федору-то Ивановичу, что стул-то, мол, сохранился.

— Я без тебя, Сеницын, знаю, что мне надо ему написать. — Голос Сергея Никитича звучал сурово и оби-

женно. — Я отца твоего учил, старших братьев твоих учил и тебя выучу, а если же ты совсем не хочешь заниматься, то мы с тобой расстанемся навсегда, потому что ты из школы будешь исключен. Запомни! Вот это хорошо, что ты нашел в себе мужество признать свою вину. И пусть это будет началом твоего исправления. Раз навсегда оставь свои проделки и учись... Хорошо учись! Буду проверять.

Сергей Никитич помолчал минуты две, потом показал на ворот рубашки ученику:

— Пуговицу надо пришить. Иди.

Сергей Никитич подошел к окну.

Осенний день. Солнце низко висело над лесом. По дороге бежала колхозная автомашина, груженная полными мешками. С берез, полукольцом окружавших школу, сыпались листья. Сергей Никитич когда-то в молодости сам сажал эти березы. Они теперь выросли, стали большими, кудрявыми и вот уже который год на его глазах снимают свой летний наряд.

Вышел из школы Костя Синицын, тихо побрел домой. Он миновал школьный двор, перешел дорогу и пошел низким лугом прямо к деревне. Ветер неистово трепал полу его незастегнутой куртки. На спине его горбилась сумка с книгами, в руках он нес изломанный стул. Учителю почему-то стало жалко этого маленького человечка. Он был чем-то дорог старому педагогу. Сергей Никитич смотрел ему вслед до тех пор, пока мальчик не скрылся в плетнях огородов. Над полями плыла последняя паутина. На дороге лежала тяжелая холодноватая осенняя пыль. За деревней заливисто и лихо звенела молотилка, как будто удалая тройка во весь скок несла по каменистой дороге раздребезженную, несмазанную коляску.

Наступила глубокая темная осень. С полей тянулись длинные телеги со снопами. Высоко в небе прощально курлыкала улетающая в теплые края стая журавлей. Много журавлиных косяков, глядя в окно или стоя на крылечке школы, проводил взглядом Сергей Никитич, много дождливых холодных осеней пережил он здесь, но все они на эту, нынешнюю, осень не были похожи.

За деревней на дороге засеребрилась длинная коса пыли. Сергей Никитич вгляделся. Впереди шли мужчины с большими мешками за спиной. За ними по-двигались, то отставая, то нагоняя их, женщины и дети.

„Опять мои ученики пошли“, — подумал Сергей Никитич.

В первые месяцы войны он каждый раз ходил на деревню провожать мобилизованных, целовал их на прощанье, желал боевых удач, наказывал беспощаднее бить фашистов. А когда начались в школе занятия, провожать стало некогда. Вот и сегодня — уроки кончились, а еще надо часика полтора позаниматься с отстающими ребятами. Учитель помнил всех жителей деревни и мог их узнать даже по походке. Он взгляделся пристальнее, но клубившаяся под ногами пешеходов пыль мешала разглядеть. Вот на пригорке у старого дуба, до которого здесь было принято провожать, все остановились. Мужчины расцеловали жен, детей, стариков-родителей, поправили мешки за плечами и пошли дальше. Провожжающие долго стояли на пригорке и смотрели им вслед, роняя слезы.

Была в деревне великая страда уборки и расставаний. Мужчины призывного возраста уходили на фронт. Колхозники работали с первых проблесков зари до темна. Да и ночь-то многие работали. В ночных полях, как воспаленно-красные глаза, виднелись огни тракторов, поднимающих землю под зябь. Всю ночь, ни на минуту не смолкая, звенела молотилка. Сергей Никитич видел, что нынче поля пустеют раньше и быстрее, чем в прежние годы. Народ сказал себе — быть крепким, не сгибаться, победить.

Сергей Никитич вернулся в класс. Там сидели за разными партами четыре ученика — три мальчика и одна девочка.

— Немножко займемся, ребята. Вчера дома вы уроки не приготовили. Сегодня мы это наверстаем.

Через два дня утром учитель, войдя в класс, увидел исправленный стул. Он внимательно осмотрел его, приподнял и слегка стукнул им об пол. Стул был отремонтирован чисто, тщательно, прочно, но Сергей Никитич не похвалил. Он только сказал ворчливо:

— Вот теперь хоть стулья у нас все будут в исправности.

— Это я сам, Сергей Никитич, — вырвалось у Синдына.

— Что „я сам“?

— Сам починку сделал.

— Вот как... А я думал, что ты только на шалости толковый...

В один из тех дней хмурым осенним утром Сергей Никитич сдержанно поздоровался с учениками, много значительно помолчал, оглядел всех ребят, как будто очень давно их не видел. Потом заговорил:

— Наступают холода. Будут скоро морозы. Многие из вас проводили отцов и братьев на фронт. Работников в деревне стало меньше. Колхозники нынче работают много, вдвойне против прошлого, но все сделать не успевают. А на зиму хлеб нужен нам, рабочим в городе, бойцам на фронте. Надо помогать государству. Занятий сегодня не будет. Пойдем копать картошку. Одевайтесь, выходите и стройтесь по-двое.

Сергей Никитич одел расхожую тужурку, брезентовый фартук, в котором работал летом у себя на огороде, и вышел к ученикам. Они стояли по-двое в ряд притихшие, озабоченные.

— Марш! Пошли! — громко сказал учитель. Цепочка учеников тянулась холодным неприветливым полем. Впереди шел старый учитель — шел медленно, прямо.

— Сивицын! — позвал к себе в поле Сергей Никитич. — Ты должен быть в отца — хорошим организатором. Подбери себе бригаду и руководи... Если стулья так хорошо починять умеешь, то картошку-то копать, я думаю, можешь прекрасно. А другую бригаду подберет себе Кустов, а остаточки со мной пойдут. Вот и будем соревноваться — кто больше сделает.

Выслушав учителя, Костя прошелся взад и вперед, как бы продумывая какое-то важное решение, потом встал перед товарищами и громко спросил:

— Кто в мою бригаду?

К нему подвинулась большая половина класса.

— Но знаете, ребята, как со мной работать, — проговорил он важно, раздельно, подражая отцу. — Я не люблю последние места.

Он отобрал десять учеников, на его взгляд самых отважных, и повел их за собой на загон.

На целую неделю были забыты учебники. Каждое утро школьники отправлялись в поле и работали до ранних осенних сумерек. В полдень на короткий час они уходили, потом опять дружно являлись на работу.

Изредка бегали отогреться у костра, пекли картошку каким-то им одним известным способом, в ямке под костром. Это даже Сергей Никитич видел только впервые. Картошка при этом не пригорала с боков, кожица делалась нежной, тонкой, и хорошо пропечен-

ная мягкость при встряхивании высыпалась из нее кусками, как из мешочка. Ой, вкусна была эта картошка! Дети аппетитно поедали ее, обжигая похолодевшие на осеннем ветру губы. Это были все здоровые и крепкие ребята, сыновья и дочери тружеников. Они работали быстро, увлеченно, сноровисто и долго не утомлялись.

Старый Сергей Никитич возвращался домой, еле волоча ноги. А потом, отдохнув и отогревшись, в сумерках выходил на двор за дровами, чтобы приготовить себе ужин, и видел, что его ученики после трудового дня еще играют на улице в „ловички“.

Он с завистью смотрел на них, качал головой и удивлялся:

— Какие крепыши.

— Как мы с тобой ни стараемся, Кустов, а бригаду Синицына опередить не можем, — сказал в конце недели Сергей Никитич.

— Так у него же отец председатель колхоза, — с горечью в голосе сказал ученик.

— Так что же это должно значить?

— А то должно значить, Сергей Никитич, что у него опыта больше.

— Ах, вот как... Возможно, возможно... так ты перенимай у него этот опыт, он им поделится с тобой.

В середине следующей недели школьники сели за учебники, сильными, припухшими от холодов руками взялись за карандаши. Сергей Никитич прошелся между рядами парт, склоняясь и вглядываясь:

— А руки все вы, ребята, хорошо вымыли?

— Вымыли, Сергей Никитич.

Он взял и поднес к глазам ручонку одного ученика, другого, третьего...

— А как будто грязца виднеется.

— А это, Сергей Никитич, в ссадины земля въелась — не отмывается.

— Ну, раз земля въелась, — это ничего, здоровей будете. Но отмыть можно и надо отмыть.

В конце недели Сергей Никитич, войдя в класс, долго смотрел в окно. Лужа покрылась льдом. Побелевшая крыша сарая, замерзшая атава.

— Вот морозы пришли, — со вздохом проговорил учитель.

— Зима начинается. Хорошо, что выкопали картошку, а то померзла бы вся. Ни одной, как говорится, в поле картошечки не осталось. Хорошо, приятно на

сердце. — Затем он резко повернулся к классу и с чувством произнес:

— Я вас поздравляю, мои ученики.

Класс затих: ни одного шороха. Сергей Никитич похлопал себя по карманам, извлек из одного из них бумажку и приподнял ее в руке:

— Вот. Колхоз нам прислал благодарность за хорошую работу.

Учитель с чувством прочитал бумагу и спросил:

— Кто из вас постоярничать мало-малю получше умеет?

— Костя Синицын, — раздалось несколько голосов.

— Опять Синицын... Ну, Синицын, так Синицын. Надо сделать хорошую рамочку. Мы эту бумажку в рамочку вставим и устроим на видном месте. На память!

Шли уроки, проходили дни. Сергей Никитич как бы забыл о Косте, только иногда как будто мельком взглядывал на него и замечал чуть ли не просящий взгляд мальчика, который как бы говорил: „Сергей Никитич, спросите меня... Я знаю“.

Учитель, наконец, вызвал Синицына к доске. Костя отвечал блестяще. Сергей Никитич помолчал, подумал: „способный паренек, будет хорошо учиться.“ Затем сказал спокойно, ласково:

— Иди на место.

На другой день еще спросил, через два дня вновь вызвал к доске. Синицын отвечал хорошо. Сергей Никитич остался доволен. Он сказал тихо, как бы между прочим, но так, что у Кости взвырвало сердце:

— Синицын, можешь идти на место. Я напишу Федору Ивановичу, что его стул у нас в школе в полной сохранности.

Выпал снег. Пришла суровая и долгая зима, разбушевались метели. Снегу выпало столько, что за сугробами не видно было деревни. Сугробы подходили вплотную к крышам, и местность казалась однообразной, волнистой, белой пеленой, и только утром и вечером дым из труб обозначал место деревни. Ученики приходили в школу на лыжах.

Перед вечером, выйдя на крыльцо подышать свежим воздухом, Сергей Никитич видел вдали черное пятно. Это возвращался из районного городка почтальон Сипатрыч. Его черная кобыла „Индейка“ то пропадала за сугробом, то взбиралась высоко на сугроб и казалась

галкой, перелетающей по дороге с места на место в поисках зерен. Сипатрыч подъезжал к школе, отгибал высокий воротник овчинного тулупа, открывал озябшими негнушимися руками кожаную сумку и говорил:

— Пишут, не забывают тебя сыновья-то. Много у тебя их на фронте, ох, много. На вот, почитай вечерком да напиши им, всем напиши, чтобы хорошо воевали...

Бывшие ученики часто писали старому учителю. Они почему-то все припоминали его и стали ласковые, полные волнующей сердечной теплоты письма. Они находились на фронте и в резервных частях, стали артиллеристами, минометчиками, зенитчиками, танкистами, связистами... Все, что преподавал Сергей Никитич в сельской школе, теперь им очень кстати пригодилось. Арифметику, понятие о вселенной, основные физические законы — все пришлось припомнить и крепко затвердить. А Сергей Никитич в свое время в их лохматые головенки знания вкладывал прочно, так что бойцам пользоваться ими было легко, и они теперь один за другим, как бы сговорившись, вспоминали своего учителя и писали ему о фронтовой жизни или боевой учебе.

Дело дошло до того, что вороная „Индейка“ Сипатрыча сама поворачивала к школе и останавливалась у ворот.

— Вишь ты — встала, — с удивлением восклицал Сипатрыч, — знает, видно, хитрая, что тебе, Сергей Никитич, опять есть письмо.

Вечерами в школе было тихо-тихо... Только слышались тяжелые шаги школьного сторожа Короля, изредка раздавался звяк кочерги да зазорное потрескивание еловых поленьев. Сторож, по прозвищу Король, служил в этой школе нивесть сколько времени. Когда Сергей Никитич приехал сюда учительствовать, Король служил уже здесь, был немолодым отставным унтером, но на нем еще сохранился унтер-офицерский мундир и фуражка.

Сторож намного старше Сергея Никитича, мундир и фуражка давным давно износились и истлели, но Король выглядит еще молодцом — прям, силен и неизменно здоров. Мужик он хозяйственный, живет сыто и порядочно. На школьном дворе у него огород и своя сараюшка. В сараюшке сено, куры и коза. В школе он наблюдает замечательную чистоту, а в свободные часы занимается мелкой поделкой: чинит тазы, ведра, кастрюли, сапоги, столы, шкафы, кровати... Он умеет делать все, этот большой и вечно невозмутимый человек.

— Вот горшки починять не могу, не выучился, — усмехается Король, — а новые все-таки делать умею. Он каждый день читал военные сводки. Прочитав, надолго задумывался. Потом говорил:

— Эх, ему, гадючему разбойнику, теперь бы еще вдарить в хвост и с флангу. Надоел матушке вселенной германец-то... Все войны он зачинает...

Вечером учитель часто приходил в класс. Красивый седобородый Король сидел у печки на низенькой скамеечке, смотрел на огонь и о чем-то думал. Заслышав знакомые шаги, Король вытаскивал из угла другую маленькую скамеечку и ставил для учителя. Сергей Никитич любил зимними вечерами посидеть у огонька, и для него Король сделал такую же удобную скамеечку, как и для себя.

Они усаживались рядом, и Сергей Никитич начинал разговор.

— Помнишь, Королев, у нас учился Вася Севастьянов — белоголовый был такой, голубоглазый, можжевелевые ягоды любил жевать... Всегда у него в кармане ягоды... Бабушка у него квас на можжевелевых ягодах хорошо делала. Замечательный был квас, я не раз пробовал. Школьный сторож, как и учитель, помнил всех учеников, бесконечной вереницей прошедших школу за десятки лет их работы.

— Васютку Севастьянова как не помнить... Он не из шалунов был, нет... Придет в школу и ноги о половику вытрет. Я его все в пример ставил — вот, говорю, Севастьянов не любит грязь таскать. Смирный был... Его толкнут невзначай, а он обернется этак благородно и скажет с упрёком: „Ты не толкайся... Поглядывай“.

— Хороший был ученик... От него пахло всегда сухим можжевелем. Это мне запомнилось. Так вот — на фронте. Вася Севастьянов истребил из своей винтовки восемьдесят трех немцев.

— Многовато что-то, — отзывается Король. — Я сам на Японской войне сражался... Были у нас хорошие стрелки, но чтобы столько набили — не слышал...

— Так ведь он снайпер, сверхметкий стрелок... Винтовка у него с оптическим прицелом — далеко и хорошо видно... Лежит он целый день в скрытом месте и поглядывает. Как высунулса немец, так он раз, тот и готов... Вот и натюкал восемь десятков. Пока письмо-то шло, он, наверное, добавил. Теперь уж, поди, к сотне подвинулось...

— Раз с особым прицелом, тогда возможно, не возражаю... В Японскую этого не было.

— А помнишь, Королев, Федю Коровина... Яркорыжий был, высокий, тоненький... Он мне напоминал всегда молодую осинку во время листопада. Учение давалось ему, как говорится, на лету... И потому уроки часто не готовил.

— Этот юркий был, беспокойный, сердитый, — вспоминает Королев. — Часто приходилось страшить его — шалил. Пострадаешь его, — он осердится. Принесет в тряпочке клопов и пустит мне в койку. Вдруг ночью чувствую — кусают. Откуда клопы взялись при моей-то чистоте? Так уж и знаю — это Коровин на меня осердился.

— Так вот пишут, что Федя Коровин во время разведки четырех немцев заколол.

— С этого станется... Федор спуску не даст.

— Мишу Калачева тоже, конечно, помнишь прекрасно?

— Мишутку-то Калачева, да господи... Как сейчас вот вижу... Я его еще все медвежонком звал. Маленький, крепкий такой, толстокоренный... Бывало придет в школу и прямо ко мне — поговорить. Как большой разговаривал. Расскажет о погоде, о том, что видел на улице. И все это не торопясь, умненько. А в школу, бывало, явится первым. Никого еще нет, дверь-то заперта, а он является. Мишуха пришел, надо школу открывать.

— Да, он коренастый был мальчик, этаким квадратный... Понимал все медленно, не сразу, но если уж что поймет, то навсегда. Так вот Калачев с резервной частью недавно прибыл на фронт. А он бронебойщик, стрелок из противотанкового ружья... Немецких танков на их участке еще не появлялось. Но он нашел своему ружью применение, сбил немецкий трехмоторный грузовой самолет.

— Это что за ружье такое — танку бьет. Поглядеть на него было бы интересно, — говорит сторож.

— Тут в газете на снимке его видно. Длинное такое ружье, ствол массивный, и видом оно похоже на старинную писталь.

Сторож шевелит железной кочергой дрова в печке. Они разгораются ярче. В отсвете пламени виден первый ряд парт, большая карта Европы на стене и бумажка — благодарность колхоза — в красной лаковой рамочке. У

печки становится жарко. Учитель и сторож отодвигают скамеечки, усаживаются подальше от огня и некоторое время молчат.

— А Степу Дровяникова... — начинает опять Сергей Никитич.

— Как не помнить Степу Дровяникова... Он ведь от нас дальше учиться пошел, — говорит Король.

— Первый ученик у меня был. Я ему советовал продолжать. Пошел дальше... Институт окончил.

— Вот ведь как махнул, — ахает сторож.

— Да, несомненно способный человек, несомненно...

— А Сему Окунева... Помнишь Окунева?

Ясное дело, Король помнит и Окунева. Это тот, который в лапотках в школу ходил. Аккуратненькие, новенькие лапотки всегда были на нем. Дедушка их ему плел. Родителей у Семы не было. Жил у дедушки с бабушкой. Жили бедновато, но опрятно и дружно. Так где же теперь Сема Окунев?

— Командир минометной роты.

— Это что же за орудие — миномет? Раньше в войсках такого не было.

Сергей Никитич долго объясняет устройство миномета и его действие, потом называет новое имя кого-нибудь из бывших учеников, и разговор опять оживляется.

Так они сидят, два старика, и любовно вспоминают своих воспитанников, защищающих родину. Зимние дни, заполненные занятиями и заботами, проходили быстро.

Сергей Никитич всегда старался любить всех учеников одинаково, но Костя Синецын нынче невольник стал его любимцем. Это был мальчик на редкость толковый, энергичный и способный. Зимой он успешно собирал подарки раненым бойцам, учебники, вещи школьникам Калининской области, в избах колхозников читал газеты, шефствовал над жеребенком — трехлетком „Молодчиком“. В разговорах с товарищами он так часто упоминал своего Молодчика, что его прозвали — Костя Молодчик.

Зима тянулась долго, но учителю и школьникам казалось — прошла быстро. Однажды школьники пришли на занятия и увидели свой класс осыпанным, веселым. Сторож выставил зимние рамы. Одно окно было открыто. Учитель пришел в класс в черной косоворотке, вышитой васильками, только что подстриженный масте-

ром на все руки Королем, весь какой-то свежий и веселый.

Из-под парт выглядывали босые, крепкие, ядренные ноги школьников.

— Вы уже босиком прибежали?.. Обрадовались. Ничего... Хорошо. Ходите тверже голой ногой по земле, почувствуйте ее силу и благодать каждую минуту, любите ее, и проживете долго, будете здоровыми и жизнерадостными.

Сергей Никитич поглядел в открытое окно и с чувством продолжал:

— „Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит“... Как это просто, хорошо и точно, ребятишки, сказано. Весна у нас тихая, скромная... У нас травка, солнышко, у нас гнездится серенькая стремительная птичка — ласточка. Она всегда напоминает мне сердце русского человека. Она то сидит смиренно и незаметно, то молнией рванется к делу, и нет птички расторопнее и устремленнее... Любите свою родину, ребята!.. Смотрите, как ласковы наши луга, наши поля. От снега освободились они, дышать начали, а вот раздышатся и такой урожаище поднимут...

Сергей Никитич обернулся к ученикам:

— За Сафоновым двором — старая яблоня, заброшенный колодец и еще что есть, Синицын?

Костя быстро, но бесшумно встал за партой.

— Две котловины, заваленные навозом, и поросший бурьяном пустырь.

— Две котловины и дальше пустырь. Правильно. И больше ничего. Садись. Ты лучше стал знать географию. Давайте, ребята, вскопаем этот заброшенный участок в фонд обороны. Помните, как хватко мы работали осенью. Мы ведь здорово умеем работать. В котловинах, куда из года в год сваливали уличный сор и навоз, мы посадим табак. Тут он вырастет, как молодой лес. Обрывая его цветы, вы будете подниматься на дыбки. Вот какой табак вырастет! На берегах этих котловин на солнечном припеке мы огромными кругами насадим помидор. А дальше у нас по всему пустырю темной тучей, упавшей на землю, картофель, картофель... Из старого колодца мы будем поливать табак и помидоры, поливать редко, но много, досыта.

Бойцы на фронте после трудовых боев присядут отдохнуть, закурят нашей махорки и вспомнят работающих ребят Левашевской школы. Помидоры вырастут у нас

крупные, нежные. Их мы пошлем в наш подшефный госпиталь. Картофель будет кипеть, вариться в котлах красноармейских кухонь. Так мы будем воевать, сражаться ребята. В обработке этого участка примет участие наш старый и уважаемый друг, технический работник товарищ Королев. У него надо учиться нам, дети. Он умеет делать все, необходимое для человека. У него золотые руки и крепкая голова. Вот такие же руки должны быть и у вас, и тогда вам в жизни будет легко. Уважайте его, перенимайте у него всякое дело. Это он подал мне мысль насчет участка. Иду, говорит, гляжу — земля зря валяется, аж сердце заболело. Не могу, говорит, видеть забытую землю. Вскопаем ее на оборону. Я сам, говорит, в этом деле передом пойду. Раз уж сам Королев берется, то урожай на этом участке будет невиданный. Он не любит плохо делать. Он любит отличаться. На воле теплынь. Пора. Сегодня вечером выйдем на участок. Выйдем все — у кого есть время и желание. Поднимите руки, кто хочет выйти сегодня на работу.

Тридцать шесть рук вскинулись вверх.

И вечером ученики вышли на работу. Верховодил ими Королев. Школьники дивились силе, трудовой сноровке и упорству этого старика. Он с помощью ребят так разделал котловины, что они стали похожи на расписные чаши, наполненные длинными пряниками.

Сергей Никитич так и сказал:

— Не грядки, а пряники, есть хочется.

Наверху котловины он разбил грядки кольцами.

— Кольца Сатурна, — пошутил Сергей Никитич.

Он работал увлеченно, не уступая Королеву.

— А под картошку надо землю разделить так, чтобы уродилась сам двадцать, земля тут отдохнула, она уродит, — сказал Королев. Старика охватило подлинное трудовое вдохновение, с ним интересно было работать.

За четыре дня до конца учебного года Костя Синицын не явился в класс. Сергея Никитича это как-то больно кольнуло.

— Что — Синицын заболел? — спросил он.

Никто не знал. Его никто сегодня не видел. Ученики начали строить догадки, но Сергей Никитич прервал их.

— Ладно, начнем занятия. Я сам выясню...

После полудня, только Сергей Никитич собрался сходить на дом к Синицыным, явился к нему Костя.

— Почему ты сегодня на занятия не явился? — встретил его учитель.

— А вот я, Сергей Никитич, и пришел сказать почему... Папу в армию провожал. Сегодня я чуть свет ушел удить рыбу, вернулся, а папа, совсем неожиданно, собирается уезжать. Я ему говорю, что наловил много рыбы, клев был хороший, а ему слушать меня некогда. Тогда я скорей начистил и к маме: „Поджарь!“. Поджарь, говорю, папа поест моей рыбы. Она поджарила. — „Папа, поешь моей рыбы“. Он обрадовался: „Ах, ты хочешь угостить меня на прощанье рыбой. Давай“. Он поел моей рыбы и пошел.

Заметно — мальчику жаль было отца. Из его жизни ушло что-то дорогое, большое. Ему, видимо, было очень приятно, что он угостил отца на прощанье, и Костя с особенным удовольствием произносил „моей рыбы“. В этом сквозила и гордость, что вот уже сын-то какой стал, большой вырос, наловил рыбы и угостил отца.

Через день Костя пришел к учителю посоветоваться.

— Сергей Никитич, — заговорил он озабоченно, — я хочу в поле выезжать. Мне на Молодчике разрешают работать. Он у меня послушный. Не подведет. Мы справимся.

— Молод ты еще, Костя...

Следовало бы сказать мал, но учитель пощадил самолюбие ученика и сказал „молод“.

— Так ведь работников-то у нас в семье, Сергей Никитич, кроме меня, никого нет. Я старший. Маме скоро надо в больницу идти.

— Попробуй, если надеешься на Молодчика. Через два дня испытания. Приготовься и приходи сдавать. Я надеюсь — ты выдержишь.

Через два дня он приходил держать экзамен. Выдержал успешно и совсем исчез из глаз Сергея Никитича. Прошла неделя. Учителю захотелось повидать своего ученика, и он пошел по полям. Пахари и кони устали. Время подходило к обеду. Учитель вышел на дорогу. По дороге шли девушки-подростки. Они смотрели в сторону и говорили:

— Молодчик-то как работает — любо-дорого смотреть. Пашет, как пишет...

Появилась женщина — бригадир Полина Евсеевна. Подъехал к дороге Костя.

— Тетя Поля, дай шагалки смерять, сколько у меня сделано до обеда.

Он взял у нее деревянный циркуль, сделанный для обмера земли, и быстро прикинул: сорок соток. А по норме на молодой лошади — пятьдесят. Ого.

— Я сегодня, тетя Поля, до вечера почти две нормы выполню.

— Ну, ну, старайся, — сказала она и быстро пошла дальше.

К мальчику подошел учитель:

— Идет дело на лад, Константин?

— Идет, Сергей Никитич.

— Ну, ну, старайся, — сказал также учитель.

Костя повел новую борозду. Лошадь шла прямо, плуг резал и отваливал землю безукоризненно. Сергей Никитич любовался и пошел прочь.

— Природный пахарь, — мелькнуло у него в мыслях.

Через час Костя явился домой на обед. Мать ждала его. Большая плошка, из которой ел отец, стояла в красном углу стола. Костя сел на то место, где раньше сидел отец. В плошке дымилась молочная каша. Она перестоялась немножко, погустела, но Костя, как и отец, любил такую. С устатку он умял всю плошку каши и не почувствовал тяжести в желудке. Но сыт был вполне. Затем он пошел отдохнуть. Лег в летней горенке и перед сном стал думать. Мысли пришли в голову маленькие, но дельные.

„Если я каждый день буду перевыполнять норму, то Молодчик сбавит в теле или нет? Надо самому следить, как его кормят“, — решил Костя. Потом мысль перекинулась на другое. Прошли дожди, сильно поднялась трава, на пастбище кормно. „Барыня должна прибавить удой, — думал он про свою корову. — Горшка три прибавит. Тогда ватрушки можно печь“. Ему хотелось ватрушек. И тут он уснул.

Однажды вечером Сергею Никитичу пришлось зайти на колхозную конюшню. Пахари вернулись с поля и распрягали лошадей. Костя заводил уже своего Молодчика в стойло.

— Константин Петрович, — послышался голос древнего старика конюха. — Ты чистил сегодня Молодчика?

— Да, Северьяныч. Да.

— Мне почистить еще?

— Нет, я завтра сам его опять почищу.

Увидев учителя, Костя, смущенный, подошел к нему, поздоровался и сказал, кивнув на старика:

— С тех пор, как я стал норму перевыполнять, Константином Петровичем меня зовут... Да и другие тоже начинают.

— Уважением, значит, начинаешь пользоваться. Это, брат, делает тебе честь.

Сергей Никитич в этот вечер провел с колхозниками беседу, возвращался поздно и по дороге заглянул в окно дома Синицыных.

На столе горела семилинейка. Огонек был экономно привернут. Костя сидел над листком бумаги и что-то писал. Учитель поглядел и тихо на цыпочках отошел от окна, чтобы шорохом не отвлечь мальчика от дела. Костя писал отцу письмо.

„Уезжая, ты мне ничего не сказал, но я вижу, что у нас работников в семье — раз-два и обчелся: я да мама. Я знаю, что маме скоро идти в больницу, а потом мы отдадим маленького в ясли, и мама будет работать в поле, и мы проживем зажиточно. Я встал за плуг, работаю на своем подшефном Молодчике, норму перевыполняю, весенний сев завершили почти в срок. В поле за Озаровским прогоном я вспахал больше трех гектаров. Каждый день бригадир тетя Поля записывает трудодни, и я слежу — правильно ли подсчитано и записано. Танюшка хоть и старше меня на год, но девочка и занимается по домашнему обиходу, но скоро будет на прополке работать, потом сено сушить и сгребать, потом еще разная подсобная работа ей найдется. Она вся в нас, Синицыных, ловкая, у нее всякое дело так и горит в руках, и она покажет себя, говорит, не отстану от брата. Хоть тебя теперь, папа, и нет на посту председателя, но мы все, колхозники, стараемся удерживать колхоз на твоём уровне. И удержим. Так все колхозники в один голос говорят“.

За окном стояла предельная полевая тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Деревня спала крепким сном. Ночные сторожа тайлись где-то в безмолвии деревни, охраняя ее богатое добро и покой.

Коротка весенняя ночь.

Кончай, Костя, письмо, клади его в конверт, гаси семилинейку, ложись спать. Тебе надо отдохнуть до утра.

Скоро рассвет. Колхозники рано примутся за работу.



Павел Минаич Кораблев считался человеком тихим и мешковатым. В колхоз он пришел в числе последних.

— Все продумал, — сказал он, — буду работать не хуже других.

Трудился не торопясь, всегда спокойно и долго, и на доске показателей его фамилия занимала почетное место.

Любовь к людям, к вещам вспыхивала в его душе не часто, но если что-нибудь ему полюбит, то уж крепко, надолго. Из всех сельскохозяйственных машин больше других ему понравилась льнотеребилка.

— Хитро придумана, — говорил он. — Рукастая машина.

Он всегда с нетерпением ждал осени — начала тербления и работал на своей машине с увлечением, чуть ли не целыми сутками.

Нынче во время уборки льна фронт подошел к колхозу близко, но Павел Минаич работал с непременной невозмутимостью.

Однажды появился вражеский самолет и начал кружить над полем.

— Ложись, — сказал Павел Минаич колхозникам.

— Прильни к земле. Обстреливать будет.

Колхозники уползли в лен и затаились. Но фашистский летчик кружил над полем, не стреляя. Потом он отошел в сторону и взмыл повыше.

Павел Минаич следил за ним и увидел, как фашистский самолет вытряхнул из себя пять белых клубков.

Минаич, пригнувшись, подбежал к колхозникам и сказал:

— Я все продумал: берите колья... Бейте их в тот самый раз, когда они только земли коснутся.

Недалеко был огороженный прогон. Павел Минаич разобрал прясла и вооружил всех колхозниц кольями. Сам себе выбрал кол поувесистее. Фашисты ладили

снизаться на лесную поляну, но ветер упрямо относил их на поле льна. Павел Минаич притаился за кучей снопов, и как только один из фашистов стал приближаться к земле, бросился со всех ног к нему. Парашютист при соприкосновении с землей не устоял на ногах, упал. Парашют в первую минуту стал свертываться, но вдруг, наполнившись ветром, вздулся и потащил немца по полю. Павел Минаич погнался за немцем и принялся бить колом плашмя, как бьют палкой убегающую мышь. Он отбил сначала ноги... Последний удар по спине и затылку оказался смертельным.

Павел Минаич с презрением пнул немца ногой и сказал:

— Сколько льну сукин сын примял.

Колхозницы ухлопали еще двух фашистов, двое убежали в лес.

— И этих пымаем, — сказал Павел Минаич. — Надо военным сказать. Поди-ка, Фрося, доложи.

Перед приходом немцев в село активисты и все колхозники, кто посильнее и поздоровее, ушли в партизаны. Кораблев как-то замешкался и не пошел с ними.

Спустя некоторое время он пристал к красноармейской части.

Перед уходом жена говорила ему:

— Куда ты? Ведь тебе шестой десяток пошел. Сиди дома. Ты старый — тебя немцы не тронут.

— Хоть я и старый, а сердце-то у меня есть, — сказал Павел Минаич.

В Красной Армии дали ему дело — подносить мины. Во время боя Кораблев неловко и мешковато уползал за минами, и, глядя на него, казалось, что он век не вернется. Но Павел Минаич во-время успевал к миномету с лотками мин, и лицо его сияло радостным оживлением, и глаза, по-детски чистые и ясные, смотрели задорно.

Под ожесточенным огнем неприятеля он тотчас же бесстрашно уползал за новым запасом мин и вновь возвращался с полными лотками невредимым и оживленным.

Минометчики любили Павла Минаича. Любили просто за то, что с ним легко и приятно было жить, вместе воевать. С первого взгляда он был как будто неловок, никогда не торопился, но никогда никуда не опаздывал и не находился без дела. В блиндаже он как-то умел создавать для всех удобства и уют. Разведение огня он

умел превратить в общее удовольствие. В эти минуты он весело разговаривал, сладко побряхтывал, похлопывал руками, и от одного этого всем становилось тепло и радостно.

В одном из крупных боев минометчики оказали огромную помощь пехоте в продвижении вперед. Павел Минаич аккуратно доставлял лотки с минами. На этот раз он по местности, на которой головы нельзя было поднять от вражеского огня, ухитрился доставлять двойные порции мин. Командир батальона, проходя на переднюю линию, заметил беззаветного труженика боевой страды.

— Давай я тебе помогу, — сказал он.

— Я управлюсь, товарищ командир... Управлюсь. — ответил Павел Минаич, поспешая к минометам.

Минометчики в этом бою заслужили благодарность. Они особо выделили заслуги бойца Кораблева, который, несмотря на страшную опасность, обеспечил снабжение минами. Командир перед строем поблагодарил его, пожал руку и объявил о присвоении ему звания сержанта.

Павел Минаич обрадованно смотрел на командира ясным и просящим взглядом.

— Ты что-то хочешь сказать, Кораблев? — спросил командир.

— Да, хочу сказать, товарищ командир, — медленно проговорил Павел Минаич, — мне бы автомат...

— Что тебе так вздумалось?

— Нравится он мне... Очень работающее орудие. Давно мечтаю, между делом я изучил его подробно.

Через недолгое время ему доверили командование группой автоматчиков.

Красная Армия наступала, занимая села, деревни, города. Войска шли дорогами, загромаженными танками, автомашинами, орудиями, оставленными противником, шли заснеженными полями, усеянными трупами фашистов.

Однажды Павел Минаич явился к командиру и сказал.

— Товарищ командир, в десяти километрах отсель перед нами мое родное село. Разрешите мне его почистить. А пока я его чищу, вы тем временем подойдете.

Командир разрешил. Автоматчики на лыжах, в белых халатах незаметно подобрались к селу ночью. На окраине нашли в ямах несколько местных жителей. Павел Минаич досконально узнал от них, где и в каком количестве расположились немцы.

По указанию командира автоматчики по задворкам разошлись по селу, заняли переулки, перекрестки. Когда все заняли свои места, Павел Минаич велел одному из обнаруженных в яме — подростку Михееву — бежать вдоль села и кричать:

Русские идут... Русские идут.

Подросток постарался. Он так неистово кричал, что немцы, испуганные этим криком, немедленно выскакивали на улицу.

Те фашисты, которые выбежали на улицу, остались лежать на снегу. Оставшиеся в домах забились в дальние углы, надеясь отсидеться тут и потом выбраться к своим.

С рассветом стрельба в селе утихла.

Утро наступило хмурое, морозное, с тяжелым сырым туманом, в котором даже ближние избы темнели бесформенными пятнами. К автоматчикам пробирались жители и сказывали, где затаились фашисты. Павел Минаич стоял за уцелевшей стеной каменной палатки. В ней прежде колхоз хранил съестные припасы для артельной столовки и детских яслей.

Автомат его уже остыл. Впереди, в нескольких десятках метрах от него, там и тут чернели скрюченные трупы фашистов.

Над головой Павла Минаича тихо, еле махая крыльями, пролетела галка и опустилась на деревянную полку, уцелевшую на каменной стене. Павлу Минаичу вспомнилось, что на этой широкой полке колхозный кладовщик хранил новую запасную посуду для столовки. Птица прошла по полке, добралась до уголка и, прижавшись к стене, нахохлилась и затихла. Павел Минаич протянул к ней руку; птица только чуть-чуть шевельнулась и дальше забилась в угол. Разгоряченный боем, Павел Минаич только сейчас понял, как сегодня холодно, птица озябла до того, что не могла уже летать. Он бережно взял ее в руку, — она была худа, очень легка, — и посадил отогреться за пазуху, под халат. Галка поскребла лапками по дубленой коже меховой тужурки, зацепилась и затихла.

— Вот он, — раздался за спиной сержанта знакомый голос красноармейца. Вскоре он увидел перед собой сгорбленную, съежившуюся фигуру, закутанную в какое-то веретё. На Павла Минаича смотрели скорбные слезящиеся глаза жены. Как она постарела и сгорбилась за эти недели хозяйничанья немцев в селе. Была

женщиной моложавой, прямой и крепкой, а сейчас перед ним стояла старуха.

Да, Елизавета Михайловна, черные, мрачные дни пережила ты! С трудом подняла она руку, оттянула вниз с носа и рта вязанку и проговорила надтреснутым протуженным голосом.

— Родной мой. Довелось вот свидеться.

Павел Минаич, крепко придерживая автомат, свободной рукой обнял ее и не мог произнести ни одного слова.

Жена спросила:

— Зайдешь домой-то или некогда?

— А сохранился он?

— Да стоит еще... Сама-то я в яме живу... Выгнали...

— Надо бы зайти — хоть глянуть.

Он передал командование помощнику и пошел вслед за женою. На улице стояла мертвая тишина, только изредка кое-где мелькали фигуры автоматчиков. У ворот и крылечных дверей домов, в переулках и на улицах всюду валялись убитые немцы.

— Производительность труда у нас сегодня хорошая, — стараясь оживить жену, громко произнес Павел Минаич.

В доме было холодно, мерзко. На грязном столе валялся обрывок бумаги с массой раздавленных на нем вшей. В углу обрывка на чистом месте было написано: $49 + 16 + 7$. Видимо фашист подсчитывал свои трофеи.

С холодной печи выглядывали сиденье и руль мотоцикла.

— А это что? — спросил хозяин, заглядывая на печь, — как он сюда попал?

— Да отогревать, видно, затащили разбойники-то...

На полу у передней стены валялись мелкие осколки стекла. Раньше эта стена была вся увешана фотографиями детей, родственников и друзей Павла Минаича. Некоторые из них теперь растоптаны на грязном полу, а оставшиеся на стене изрешечены пулями. Расстреливая фотографии, фашисты метили в лица, попадали плохо и в злобе, видимо, выпускали десятки пуль.

Павел Минаич вздохнул, быстро прошелся по избе. Галка заскреблась под халатом. Павел Минаич вспомнил о ней, вытащил из-за пазухи, подержал на руке и решил пустить ее в подпечье. Там он, бывало, по зимам отогревал озябших куриц, маленьких ягнят...

Он склонился к устью подпечья и легонько подбросил

сил туда галку. Там что-то вдруг шарахнулось: галка испуганно, подпрыгивая и падая, выбралась обратно, добрела до стены и затихла тут. Павел Минаич схватился за автомат. Жена вскрикнула и невольно сделала движение рукой, похожее на крестное знамение.

Павел Минаич ободрил жену взглядом и проговорил:

— Тут, видно, у нас „гость“...

И грозно крикнул:

— А ну, выходи.

Тихо.

Павел Минаич направил ствол автомата в подпечье и сделал одиночный выстрел... В подпечьи кто-то ошалело завопил и тяжело пополз. Фашистский солдат пятился оттуда раком. Сначала показались ноги в стоптанных, рваных ботинках. Одна нога была обмотана синим передником, другая невыделанными кроличьими шкурками. Свои обмотки фашист вместо веревок завязал проволокой. На мундир он надел вязаную юбку. Для рук немец по бокам юбки вырезал прорехи и затянулся ремнем. Голова поверх пилотки была обмотана старинным ковровым полушалком. Такие платки хранились у некоторых колхозниц как память о матери или бабушке. Фашист неуклюже выпрямился, исподлобья посмотрел на Павла Минаича, на его автомат и поспешно поднял вверх руки.

— В мирное время ухохотались бы на этакое чучело, а сейчас не до смеху... Возьму вот нож, да исколю мерзавца, живого места не оставлю, — проговорила Елизавета Михайловна.

Уставив на фашиста автомат, Павел Минаич сказал жене:

— Сними с него оружие. Обыщи.

Елизавета Михайловна, брезгливо отворачиваясь, обыскала немецкого солдата и доложила:

— Ничего нет.

Немец настороженно смотрел, то и дело переводя взгляд то на Павла Минаича, то на Елизавету Михайловну.

„У него должен быть автомат“, — подумал Павел Минаич.

Пальцем показал фашисту на его руки, потом на свой автомат и громко, как будто разговаривая с глухим, спросил:

— Где твоя такая же штука?

Немец понял, завертел головой и замахал руками. Елизавета Михайловна пояснила:

— Он, видно, говорит, что ночью испугался, бросил ружье на улице, забрался под печку.

— Я понял, — отозвался Павел Минаич. — Ну, бросил, так бросил. Так и запишем.

Немец жалобно что-то забормотал, показывая на свои продранные ботинки и на дверь, забюро поежился.

— Просит на мороз его не водить, он, дескать, там замерзнет. Боятся, что ты ружье его заставишь искать, — сказала Елизавета Михайловна.

— Боятся замерзнуть... А на себя намотал, сукин сын, целое приданое.

Павел Минаич попятился и опустил на единственную оставшуюся в доме табуретку, кивнул на ключок бумаги, валявшийся на столе, и проговорил:

— Ты это арифметикой занимался? Урожайный ты на вшей-то...

Немец ничего не ответил, сделав вид, что это к нему не относится. Он с вождением посмотрел на табуретку, на которой сидел Павел Минаич, и вздохнул.

— Посидеть охота... Не на чем посидеть. Сами вы сволочи, всю мою мебель сожгли, — сказал Павел Минаич.

— Увезли всю, черти, в окопы к себе, — сердито проговорила Елизавета Михайловна, — диван даже утащили. Чайком бы тебя, Павел, надо попить, да ничего нет — все пожрали. Надо хоть кипятку согреть, да вот самовара-то нет — подчистую ограбили... Присесть не на чем... Стол опоганили — день мыть да скрести его надо.

Елизавета Михайловна печально и растерянно металась около печки, придумывая и стараясь хоть что-нибудь съестное соорудить для мужа.

Павел Минаич сидел-сидел на табуретке и неожиданно задремал. Давали себя знать и дальние походы, и бессонные ночи, да сказывались и немалые годы.

Немец принялся чесаться. Он всей пятерней скреб грудь, бока, живот, потом поясницу. Елизавете Михайловне это показалось подозрительным. Фашист склонился и стал скрести ноги и вдруг резким движением сунул руку за обмотку из кроличьих шкурок. Елизавета Михайловна громко вскрикнула и отпрыгнула к стене. От ее крика Павел Минаич вскинулся с табуретки и увидел в руках фашиста пистолет. Стремительным броском он ринулся на немца и ногой, обутой в серый валенок, ударил его вниз живота. Фашист взвыл от боли и, падая, успел нажать гашетку автоматического

пистолета. Пули веером легли от среднего бревна стены до середины потолка. В тот же миг Павел Минаич приподнял к плечу свой автомат и одним выстрелом пригвоздил фашиста к полу.

— Жив, — бросилась Елизавета Михайловна к мужу.

— Да как будто невредим. Вот теперь-то тебе, бестия, придется на мороз... А ведь хотел, как „языка“, в штаб его передать.

С помощью жены он выволок фашиста из избы и прямо с крыльца сбросил в снег. Елизавета Михайловна жалостно посмотрела на голову фашиста.

— Какой платок-то, мерзавец, испоганил. Это у Катерины Григорьевны Лыковой он украл... Ей бабушка на память оставила...

Вскоре пришла в село красноармейская часть, а после полден Павел Минаич получил новое задание и двинулся со своим взводом в поход.

Освобожденные односельчане провожали его. Они осунулись, исхудали. Но сегодня радостью горели их взгляды. Старик Матвей Парменыч Кручинин, ласково и одобрительно похлопывая Павла Минаича по плечу, сказал:

— Смирным мы тебя все считали, тихим... Ведь ты, бывало, курицы не обидишь... Болящую в избу отнесешь, в подпечье выходишь, отогреешь...

— Я и теперь, Матвей Парменыч, никого не обижаю, я и теперь смирный, но сердце-то у меня русское. Кто затронул его за живое — держись. Спасенья тому не будет. Про нас говорят, что мы долго запрягаем, но прытко ездим. Верно ли это? Поехали мы теперь, Матвей Парменыч, и путь у нас длинный. На этом пути я горы фашистских трупов навалю и по этим горам уйду далеко, пока мое сердце не утихнет. А наше русское сердце такое, что раз уж оно сдвинуто, так долго не успокоится, до полной тишины во всех народах не уляжется. Правду ли я говорю, Матвей Парменыч?

Старик смахнул со щеки слезу и торопливо заговорил:

— Правду, Паша, правду... Выметай, родной мой, больше вали, чтоб духу ихнего не было. Ружье, сказывают, у тебя хорошее — механическое. Стреляй без пощады.

Трясущимися руками старик пригнул голову Павла Минаича и поцеловал его в губы, лоб и звезду на шапке поцеловал:

— От всего села благословляю!

Павел Минаич простился со всеми односельчанами и повел своих автоматчиков вдоль улицы, потом свернул на гумно. Он собрал свой взвод в сарае, разъяснил боевую задачу. Здесь автоматчики подтянулись и незаметно скрылись из села. Когда, в какую сторону они ушли — никто не видел.

Весь день и всю ночь по селу проходили советские войска. Они шли вперед. Далеко за селом ухали орудия, и звук их становился все глуше и глуше.

Фронт удалялся на запад.



Три друга



Василий Величинский, Иван Плохих и Евгений Мигаев ворвались в деревню, занятую немцами. Они огляделись и решили занять двухэтажный каменный старинной кладки дом.

— Поливай, — сказал Величинский Мигаеву. — Плохих, ты подползешь к дому и забросашь подвал гранатами, а я во второй этаж ворвусь. Мы тут фрицев прихлопнем.

Мигаев открыл огонь из пулемета по окнам дома, по амбразурам подвала, превращенного в блиндаж, и в то же время следил за продвижением товарищей.

Все трое они были большими друзьями. Величинский и Мигаев работали до войны на одной фабрике. Величинский был раклистом, Мигаев крыловым на одной с ним ситцепечатной шестивальной машине. Они выпускали товар новейшей модной расцветки.

Полотно выходило из машины украшенное чудесными цветами и быстро несло на второй этаж. Казалось, что какой-то страшный вихрь столбом поднимает вверх охапки цветов.

Иногда они после работы уезжали в парк выпить пива. Сидя на веранде, рассматривали вереницы гуляющих, замечали платья, сарафаны из отделанных ими материй. Они видели результаты своего яркого труда, и это их радовало. Веселый Мигаев говорил:

— Смотри, Вася, как мы девушек раскрасили, все в цвету.

— Хорошо раскрасили, — басил задумчивый Величинский, — цветы не режут глаза, не стынут ляпками, а вихрятся и нежат взгляд. Благородно получается.

Сибиряк Иван Плохих познакомился с ивановскими ситцепечатниками в рядах армии и стал их большим другом.

— Ты, Ваня, паренек не из плохих, ты из хороших.

это фамилия только у тебя плохая, — часто говорил Мигаев.

Сибиряк подкрался к подвалу и метнул в амбразуры несколько гранат.

В это время Величинский вбежал в дом, рывком распахнул дверь и схоронился за нее.

Немцы открыли ожесточенный огонь в открытую дверь, и решив, что уничтожили виновника своего страха, прекратили стрельбу. В это время Величинский на один только миг вывернулся из-за двери и метнул в немцев гранату. Как только раздался взрыв, он бросил вторую, потом третью... После этого в доме все стихло.

Мигаев подхватил пулемет и перебежал в дом. Свой пулемет он установил в окне, обращенном в сторону немецких позиций.

Иван Плохих сел с трофейным автоматом другого окна.

Величинский затащил немецкий миномет на чердак, пробил в черепичной крыше отверстие для вылета мин. Изготовившись, они открыли дружный огонь по противнику. Немцы сначала недоуменно молчали. Что такое произошло? Белый каменный дом только что был одним из главных пунктов их сопротивления, а теперь яростно бьет по своим.

Через недолгое время немцы, разгадав, в чем дело, открыли по нему артиллерийский огонь.

Снаряды рвались на улице, в проулке, на задворках дома.

Неточный огонь немцев вызвал в душе Мигаева прилив веселья, и он громко крикнул вверх Величинскому:

— Немцам учиться стрелять надо.

— Покажем им настоящую стрельбу, — ответил Величинский.

Иван Плохих прильнул к пулемету.

— Жарь по вшивым мазилкам, Женя, — сказал он своему соседу. Огонь трех гвардейцев, замечательных стрелков, наносил немцам большой урон. Враг сосредоточил на белом толстостенном доме весь огонь.

Немцы теперь уже били по нему не только из орудий, но и минометов.

По окнам хлестал свинцовый ливень, в разных концах крыши рвались мины, снаряды ложились около дома. Один из них отхватил угол дома, другой снес мезонин...

— Берегись! — крикнул Мигаев Величинскому, — колушают помаленьку.

Гвардейцы продолжали обстрел вражеских позиций.

Немцы усилили огонь, и вскоре над домом взвилось облако дыма и пыли, взметнулись языки пламени.

Пользуясь тем, что немцы сосредоточили весь огонь на этом доме, рота гвардейцев без потерь подползла к деревне и бросилась в атаку. Громовое раскатистое „ура“ разнеслось по окрестности. Немцы спешили перенести огонь на наступающих, но на фашистов посыпались гранаты, автоматчики с фланга косили растерявшихся врагов, немцы бросились бежать. Бегущих кололи штыками, расстреливали с близкой дистанции. Бой был коротким, ошеломляющим.

Белый каменный дом был разрушен до основания. Небольшая группа гвардейцев оказалась около развалин этого дома, к ним подошел политрук, гвардейцы выстроились и сняли шапки.

— Здесь погибли три наших богатыря, три героя, — сказал политрук. — Они совершили героическое боевое дело, они дрались, как львы. Ворвавшись в деревню, они заняли дом, перебили в нем немцев, обстрелом вражеских позиций отвлекли на себя огонь неприятеля и бесстрашно держались до последней минуты. Пусть подвиг трех героев постоянно, везде и всюду жжет ваши сердца, зовет вас к бою, к мщению, вперед и вперед. Они заслужили бессмертную славу. Навеки запомним их имена! — И политрук с особенным подъемом громовым голосом перечислил:

- Василий Величинский.
- Евгений Мигаев.
- Иван Плохих.

В это время в развалинах дома что-то зашуршало, заскреблось. Гвардейцы настороженно всмотрелись. Из-под груды хлама и щебня поднялась голова, и они увидели озабоченное лицо Мигаева. Он отыскал взглядом политрука и торопливо проговорил:

— Товарищ политрук, вы нас звали... Мы сейчас...

Он опустился в подвал. Оттуда слышался его голос:

— Ваня, идем в строй становиться — наши здесь. Вася, ты можешь сам выбраться?... Ну, мы тебе поможем...

Гвардейцы бросились к ним, руками, досками расчистили выход и на руках вынесли боевых друзей из подвала.

— Каким чудом вы живы остались?

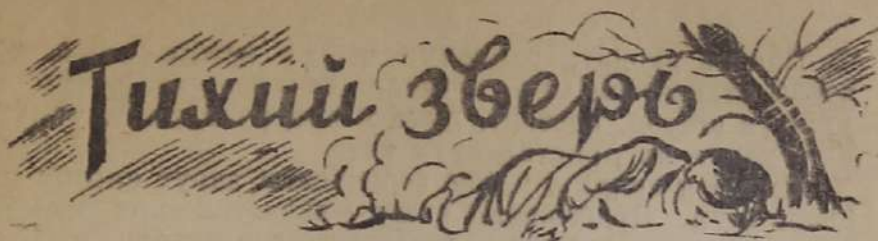
— Когда немцы пристрелялись, мы спустились в

подвал. Величинского пришлось тащить: его на чердаке упавшими стропилами помяло, — рассказывал Мигзев. — А в подвале немцы накаты сделали, потом щебнем засыпало — так что укрытие надежное. Вдруг я различаю голос политрука — нас кличет. Мы здесь, сейчас, говорю, в строй встанем.

Гвардейцы обнимали своих товарищей, предлагали закурить, обивали их шинели от земли и снега, шутили, радостно смеялись.



Тихий зверь



Лицо в морщинах, волосы сплошь седые. Ей пятьдесят лет... Да, ей пятьдесят, — заключаете вы. — А мне всего-навсего тридцать три. Полгода тому назад у меня не было ни одного седого волоса, была совсем молодой. Я сейчас проклинаю себя, я виновата в том, что послушала тех, которые говорили: „Немцы тоже люди“. Они пришли в наш поселок. Мы не выходили на улицу, старались не показываться им на глаза. Потом они пришли в мой дом. Спросили — где муж? Я прямо сказала — в Красной Армии. Спросили еще — где партизаны? Сказала — никаких партизан не знаю. Верно, я тогда не слыхала даже о них. Мне вроде как бы поверили, оставили в покое. Потом прислали четверых на постой. Я ютилась с дочуркой на маленькой кухне. Они заняли чистую зальцу и боковушку и хламили тут и чесались круглый день. Один кое-как талалакал по-русски и был из четверых самый тихий. Он был и вежливый, каждое утро заглядывал на кухню и говорил:

— Здравст, Евдокей.

Он занял себе место в нашем зальце у самого светлого окна и часто рисовал. К нему приходили солдаты, он срисовывал портреты и брал за это с них едой, а потому жрал почти непрерывно. Корова у меня была. Перед весной отелилась. Молоко все стали немцы отбирать. Утайкой оставляла я только одну криночку для своей девочки четырехлетней...

Снег сошел. Я за грядки принялась... Как-то перед вечером приходят ко мне три немецких солдата и требуют молока.

Я говорю, что нет ни капли, все уже забрали. Вежливый говорит мне, что их послал офицер, ему нужно молоко на ужин.

Я говорю — не осталось ничего.

Они не уходят, бормочут что-то между собой. Я, чтобы отвязаться от них, взяла дочурку за ручку и ушла в огород, постоят, думаю, побурчат, да и уйдут, а то конца их пристаиваниям нет.

Копаю я грядку, чтобы забыться, и вдруг слышу на дворе шум. Прибежала, вижу — валяется моя корова посреди двора, кровью обливается — все четыре ноги у нее отрублены.

Во мне все камнем сразу затвердело — ни крика у меня, ни слезинки. Только сказала я:

— Жрите, проклятые, мою корову, жрите, подавиться бы вам... Зверь и тот без издевательств жрет животное, а вам и до зверей еще, видно, далеко, вы сначала мучениями упьетесь, а потом уже и за жратву...

А вежливый, — он такой высокий, одно плечо ниже другого, через низкое плечо обернул ко мне змеиную свою морду, поправил очки и тихо, раздельно каждое слово говорит:

— Что не подчиняется, то уничтожается, Евдокей.

Корову сожрали. Живу дальше... До войны жили мы хорошо. Муж служил бухгалтером, я домашней хозяйкой жила. Детей — одна только девочка. Не знала чего пить-есть. Сядем, бывало, за стол — и то надоело, и этого не хочется.

В поселке в насмешку меня называли — „барыней“. У нее, говорят, только и делов, что дочку за ручку поводить да корову отдоить.

Перед приходом немцев из вещей я, конечно, все кое-куда прибрала. Вот дочурка моя и отрыла куклу. Замечательная была кукла, большая, красивая, глаза закрывала и открывала, а нажмешь ей на брюшко — протяжно и удивленно вскрикнет. Эту куклу привез ей из Москвы дядя, мужнин брат. Приезжал одно лето отдыхать к нам в поселок и вот преподнес малютке в подарок. Раз уж показала всем куклу, то пусть, думаю, играет. Не тронула, оставила ей куклу. Вежливый все покашивался через низкое плечо на эту игрушку, все покашивался... И день, и другой, и третий... Потом он подозвал девочку к себе и ласково-ласково сказал:

— Дай мне куклу, Наталья.

И взамен сует ей какую-то самодельную картинку. Девочка на картинку даже не поглядела, нахмурилась и обеими ручонками крепко прижала игрушку к себе. Потом тихо пошла от него, украдкой целуя куклу.

Чтобы не обидеть девочку и не раздражить чем-ни-

будь этого вежливого дьявола, я не промолвила ни одного слова, как будто меня тут и не было.

Прошло два дня. Было утро. Дочурка моя только встала. Я одела ее. И тут заглянул к нам на кухню этот вежливый.

— Здравст, Евдокей!

— Здравствуй, — говорю.

Он присел на корточки и притормозил заговорил с моей дочуркой:

— Где твой кукла, Наталь?

Девочка огляделась кругом, сбегала в уголок, где лежала кукла, — нет. Растерянно и умоляюще посмотрела на меня.

— Не знаю, говорю, где... Вчера вечером мы клали ее в уголок... Не знаю, не знаю, куда она подевалась.

— Кукла, Наталь, на огород работает, — сказал, усмехаясь, немец, — землю лопатом копает.

Малютка обрадованно всплеснула ручонками и побежала на огород. Я видела в окно, как вздулось на бегу ее белое платьишко и мелькали босые ножки. Дочурка остановилась, осмотрелась и увидела куклу, приставленную к пеньку яблони. Тут стояла хорошая яблоня, да зимой тридцать девятого года померзла. Пришлось ее спилить. Девочка подбежала к игрушке и схватила... В тот же миг раздался страшный взрыв. Я выбежала на огород. Дочка моя лежала в луже крови. Ей оторвало обе ножки и ручку... Я схватила ее на руки, и вскоре на руках у меня она умерла. Я упала в обморок и пролежала без сознания до вечера. Вечерняя свежесть привела меня в чувство. Я приподнялась и облокотилась на грядку. Сажу. Подходит ко мне вежливый дьявол и говорит:

— Что не подчиняется, то уничтожается, Евдокей.

Я посмотрела на него и ничего не сказала. Взгляд мой был видно страшен, потому что немец замигал, схватился рукой за очки и попятился... И, то и дело оглядываясь, ушел с огорода.

Да, ничего я не сказала. Что ему говорить. Ведь у любого зверя больше души и разума, чем у него.

Я руками разрыла грядку, на которой была посажена горсть сахарного гороха. Хотелось летом порадовать дочку сладкими стручками... Разрыла и похоронила последнюю свою радость...

Ночью я прямо с огорода ушла в лес. Три дня искала партизан. Ведь не знала где, в какой стороне

они существуют. Но раз постановила себе найти — нашла. На четвертый день нашла. Была молодая, а пришла седая, старая.

— Взорвите, говорю, мой дом!

— Это пока, говорит, в наши планы не входит.

Стала я порученья исполнять, ходить с ними в бой. Дождалась того дня, когда наш поселок вошел в план. Вот это у меня был праздник. Мы незаметно пробрались в поселок ночью. Вежливый стоял у склада на часах. Я подбиралась к нему долго, чтобы снять его без шума. Но он был осторожен, все приглядывался, останавливался, прислушивался. В траве под руки мне попался небольшой ящик из-под патронов. Я изловчилась и метнула ящик ему в харю. Очки разлетелись, стекла врезались в глаза. Он выронил автомат, схватился за глаза и заскулил. Не закричал, не завопил, а заскулил жалобно и обиженно. Я подбежала и прикладом карабина разнесла его безмозглую башку. Потом горючей бутылкой подожгла склад. Но это еще было не все. Я добралась до своего дома. Немцы уже не спали. Что-то разбудило их. Может они слышали, как заскулил вежливый. Я вошла в дом смело, как хозяйка. Рывком распахнула дверь. Кинула гранату и захлопнула дверь. Постояла за дверью и для верности результата кинула еще гранату.

Что наш отряд произвел в селе, об этом рассказывать долго. Это был обыкновенный ночной бой, один из тех боев, какие по плану мы проводим часто.





Полустанок в лесу.

Летнее утро.

Скоро придет поезд.

По перрону несмело проходит мальчик лет двенадцати с красным узелком под мышкой.

— Санька! — окликает его старческий голос. Мальчик оглядывается и видит старика Матятина, подходит к нему и, как с другом, здоровается за руку.

— В город?! — догадывается старик. — Билет-то взял? Ну и хорошо. Вот и поедем вместе. Мне одному неохотно. От пионеров командирован?

— Нет, по личному... К сестре в гости.

— Вот надумал. Какое теперь в городе гощенье. Летом в деревню едут.

— Известно, — задумчиво говорит мальчик. — Но она меня в оперу обещала сводить.

— Это чего?

— Известно — театр такой... Только там не говорят а поют...

— Это, стало быть, свое мнение пеньем выражают.

— Пеньем.

— Ишь ты чего изобрели, — удивился старик, покачал головой и задумался. Помолчали.

— А ты, дядя Павел, зачем? — спросил мальчик.

— А я, брат, за светом. К доктору насчет очков.

— Глаза заболели?

— Заболеть не заболели, а поослабли. Я ведь тебя маленько постарше. Землю пахать у меня зрения хватает, а тут мне вот почесть оказали... Слыхал? Как выделили заведующим доской показателей, так без очков-то мне уж никак нельзя. Дело ответственное. Процент кому-нибудь пропишешь не в ту клеточку, ну и выйдет человеку обида. Надо, чтобы все вернее верного было. Правду сказать, правый глаз у меня молодцом держится, а левый уже сдал... Чисто стариковский.

Дядя Павел закрыл правый глаз ладонью, левым взгляделся вдаль.

— Сразу будто все молочным туманом заволокло. Вот вижу по чугунке кто-то идет, а мужчина это или женщина—разобрать не могу. Ишь ты, как торопится. Во всю прыть несется. Бойтся, как бы к поезду не опоздать. Поспешь, чудак! Семафор еще не открыли. Мчится так, ровно у него четыре ноги. Да это не человек. Погоди-ка!

Старик отнял руку от правого глаза и взгляделся вдоль полотна железной дороги. Санька обернулся и стал глядеть туда же.

— Это лошадь, — сказал старик.

Санька не отозвался. Он пристально смотрел на мчавшегося коня, и на широком загорелом лице его проступали недоумение и тревога.

— Гермес, — встревоженно сообщил Санька.

— Твой подшефный? Не может быть... Что это ему сюда примчаться вздумалось?

Золотистый жеребенок-третьяк на всем скаку приближался к полустанку.

— Герм-е-ес!.. Гермеси-и-к, — во всю силу крикнул Санька, но жеребенок не повернул даже головы и промчался мимо. Из помещения полустанка вышел сторож и торопливо принялся поднимать семафор.

Пассажиры схватились за сумки, чемоданы...

— Поезд сейчас придет. Ах ты, беда какая, — вздохнул старик Матятин.

За полустанком жеребенок резко оборвал бег, вскинулся вверх и на задних ногах, перебирая передними, как бы цепляясь ими за воздух, сделал полукруг и повернул обратно. Тихим бегом, словно показывая свою гладкую золотистую шерсть, сухую красивую голову и легкую поступь, он прошелся перед пассажирами.

— Породистый, — сказал дядя с корзиной зеленого луку за плечами. — Под поезд бы не попал.

— Красавец, — сказал парень в шелковой майке.

— Гермес, Гермес, — кричал Санька, но жеребенок не оглядывался. Он продолжал свой бег, но только значительно тише. Дядя Павел решительным жестом сдвинул картуз на затылок и с отчаянием в голосе воскликнул:

— Бе-да... Сейчас поезд придет.

— Гермес совсем неопытный... Задавит его поездом, — дрожащим голосом сказал Санька.

— Какой у него еще опыт... Беспременно задавит, — сказал дядя Павел. — А с полотна он теперь не уйдет: копыта по шпалам стучат — ему и нравится.

Санька крепко сжал в руке узелок и опрометью бросился вдогонку за жеребенком. Старик Матятин нервно потоптался на месте и во всю свою стариковскую прыть пустился за Санькой.

— Сбоку забегай, — кричал он, — шугай его сбоку долой с полотна.

Вдали за семафором раздался резкий предостерегающий гудок паровоза.

— Санька, спаса-а-й, — вопил дядя Павел. — Он прямо под паровоз угодит... Скорее.

Мальчик стремглав мчался по-за елевой придорожной посадке. Красный узелок в его руке молнией сверкал в просветах между деревьями. Поезд подходил к семафору.

Гермес, увидев впереди себя черное шумное чудовище с темной гривой дыма, высоко поднял голову, наострил уши и перешел на шаг. По этой позе, с какой он встречал паровоз, можно было заключить, что его разбирает не столько страх, сколько любопытство.

— Санька, не давай ему заглядываться! Го-о-ни с полотна, — надрывался дядя Павел.

Мальчик, очутившись впереди жеребенка, резко повернул и во всю силу бросился наперерез. Гермес, глядя в незнакомое чудовище, не замечал мальчика. Санька подлетел к нему и у самой его головы взмахнул узелком. Гермес вздрогнул и подался в сторону. Поезд шумел уже совсем близко.

— Жми, — кричал дядя Павел.

Машинист дал оглушающий свисток. Саньке показалось, что свисток раздался над его головой. Он ринулся на жеребенка, ударился ему в бок грудью и начал часто-часто бить его узелком. Смущенный таким нападением, Гермес торопливо переступил через рельсу и потом легко, в два прыжка, очутился за насыпью. Санька сбежал с насыпи и в изнеможении опустился на траву. Мимо полным ходом прошел поезд. Гермес встряхнулся, глянул назад и пошел луговиной к полуставку. Тут подоспел дядя Павел.

— Пойдем в поезд садиться, — сказал он.

— А жеребенок-то? — спросил его Санька. — Он тут пропадет. Не под этот, так под другой поезд угодит. Надо его домой.

Отдышавшись, Санька поднялся и побежал. Но жеребенок, покосив на него глазом, изменил направление, и рысью пустился прочь.

— Саня, ты его так не поймаешь. Он теперь боится тебя. Ты к нему тихонько, — учил его дядя Павел. — Окликни его ласково и покажись — это, мол, я, Санька, твой шеф. Давно, дескать, не видались, вместе домой пойдем.

Санька свистнул, ласково окликнул жеребенка и тихо пошел к нему.

— Тише... Ласковее... Пусть он узнает тебя — наставлял дядя Павел.

Паровоз свистнул, лязгнув буферами. Дядя Павел бросился к полустанку, надеясь уехать, но жеребенок, испугавшись гудка, прижал уши и рысцой пустился по луговине. Санька побежал за ним. Дядя Павел остановился, чтобы дать последнее наставление.

— Не торопись... Он одумается и узнает тебя... Сам подойдет. Старик смолк и неожиданно ощутил приятную тишину и успокоение. Тихий ветерок бессильно разбегался по луговине и терялся в листве березового перелеска. Дядя Павел оглянулся. Задняя стенка последнего вагона высилась вдаль зеленым столбиком, висящим в воздухе. Проводив поезд, с перрона уходил начальник полустанка.

— Гермес.. Гермес! — слышался в тишине голос Саньки.

Жеребенок шел недалеко, внимательно разглядывал его, подозрительно косил глазом на красный узелок и вдруг остановился. Встал и Санька.

— Гермес, — ласково и проникновенно позвал мальчик и от радости засмеялся.

Жеребенок тряхнул головой и тихо пошел к нему.

— Вот и узнали друг дружку, — сказал дядя Павел.

Гермес низко опустил голову, мирно обнюхивал красный узелок. Санька загорелой ручонкой гладил ему шею.

— Цены нет жеребцу, — говорил старик, — а опыта у него еще нет... Молод. А дружить как может... На полустанок за тобой... И утром тебя нет, и на выпасе нет... Заскучал. Пойдем, Александр Петрович, домой, делать нам сегодня здесь больше нечего. Без поводка он за тобой дойдет ли?

— Дойдет, — уверенно ответил Санька.

— А может по дороге чего испугается, придется

опять за ним бегать. — Старик Матятин снял с себя ремешок и подал мальчику:

— На-ка вот, приспособь.

Они перешли железную дорогу, миновали полустанок.

— Вот тебе и опера, — сказал дядя Павел.

— Вот тебе и очки. Кому-нибудь процент запишешь не в ту клеточку, — резко ответил Санька.

— Да ведь я пошутил, — сказал дядя Павел. — Ты не обижайся... Теперь я вижу, что ты настоящий шеф.





Расставания

За фабрикой в березовой роще выстроили тесовый театр. Принялись строить его сразу же после снега, а открыли только в первые летние дни.

За рощей лежала в мягких зеленых подушках осоки речка. На запруде гулко журчал водоспад. За рекой тянулся ромашковый луг, а дальше горбились покатыми увалами поля. Далеко в поле ветряная мельница махала крыльями. Пылающие багровым цветением клевера источали медовый запах. Узенькими полевыми дорожками приходили в тесовый театр на киносеансы и спектакли шадринские парни. Садились к сторонке и смотрели широко раскрытыми глазами, боясь пошевелиться. Когда киномеханик слишком быстро пускал ленту, скрадывая текст, они кричали:

— Да-а-вай чи-тать.

Домой возвращались поздно вечером. В тишине полей они чувствовали себя легко, развязно: острили, толкали друг друга и смеялись.

В праздничный день Никита Бессонов собрал своих друзей, и они пошли вечерними полями к фабрике, в тесовый театр. Широкоплечий, сильный и белесый Никита молча шел впереди. Перед экраном он сидел не шевелясь, не пропускал ни одной буквы, ни одного движения.

Недалеко от него сидел счетовод Вася Воробейчиков с прядильщицей Тоней Голубкиной. Они смотрели уже третью картину.

Третья картина кружила голову, обжигала сердца. Девушки взвизгивали, работницы закрывали широкими

ладонями рты зрителям, еще неспособным воспринимать искусство.

Картина была старая, американская, но она целиком захватила юного, простодушного Никиту. Молодой силач, ковбой Фрэдди Эмерсон носился по солнечным просторам на своем великолепном мустанге. Неноворотливые, бородатые злодеи озирались исподлобья, сверкая белками глаз, и увозили в мрачную неизвестность красавицу семнадцати лет, и отважный Фрэдди Эмерсон догонял воров, избивал их и, вскинув на седло стройную, гибкую красотку, мчал ее по солнечным просторам к ее старым беззащитным родителям. Злодеи опять умыкали простенькую красавицу. Фрэдди, потряхивая кольцом, вновь бросался на своего мустанга и скакал, отнимал, бился, стрелял... И опять, бережно обняв девушку, мчал ее в солнечную даль. Она дарила спасителя такими красивыми многообещающими улыбками, что у Никиты кружилась голова, перехватывало дыхание. Из кино он выходил, как во сне, за дверью столкнулся с хорошенькой Тоней Голубкиной.

— Как с картины, — вывалось у него. Девушка довольно рассмеялась и исчезла с потоком удаляющихся зрителей.

— Кто она такая? — спросил Никита Бессонов у пожилой работницы, и та рассказала ему, что это дочь машиниста с железнодорожной ветки. Она считается первой актрисой в поселке, на спектаклях после каждого действия зрители рукоплещут ей и долго кричат — Галу-убкиной. Го-о-олубкиной.

На сцене она держалась смело, каждое движение ее рук было значительно, каждый взгляд ошеловителен.

Никита Бессонов стал постоянным посетителем тесового театра у реки. Счетовод Воробейчиков сидел на спектаклях замороженный, оцепенелый, а в сторонке, в группе шадринских парней, хмурились большие серые глаза Никиты. На обратном пути из театра в Шадрино приятели шутили над ним:

— Что ты, Никита, приуныл? Забудь о ней думать... Ты умом до нее не дорос...

Возвращались они в Шадрино на рассвете, шли полевой тропкой, протоптанной в густой мураве; чтобы не размочить праздничных ботинок, они разулись и до колен закатали суконные брюки. Небо веселило равнодушные поля радостью свежего рассвета. В Шадрине пастух играл на рожке, мычали коровы, блеяли овцы, и

все эти ленивые грустные звуки расходились далеко в утренней росистой тишине. Никита, опустив голову, брел позади приятелей. Им завладел образ этой красивой девушки из тесового театра. Все его прежние прозрачные и неясные мечты сплелись в одно острое чувство. Воображение упорно и безостановочно занимало милое улыбчивое девичье лицо, узкая юбка и стройные ноги в чулках цвета жарко векипяченного молока. За вечерним чаем он клал в стакан две полагающихся ложки из обгорелой с краев кринки докрасна топленого молока и вдруг мучительно-ясно представлял красивые ноги любимой девушки и всю ее веселую, зазывную. Напившись без прежнего удовольствия чая, он одевался почище и, боясь попасться на глаза приятелям, незаметно скрывался из Шадрина.

На середине деревни у старой березы собралась молодежь на вечернюю гулянку, но Никита равнодушен к ней, его тянет в тесовый театр у фабрики.

Вот он идет полем, и сладкие мечты теснятся в его распаленной голове. Он сильнее Фрэдди Эмерсона... В удостоверение того Никита сгибает правую руку, щупает клубок мускулов, жмет кулаком грудь. Лошадь у него быстрее ковбойского мустанга. Фрэдди несется вот по этой дорожке к Шадрину. Никита гонится за ним по пустырю, перелетает угористое поле у мельниц и пересекает дорогу Фрэдди на лугу... Минут пять они мчатся рядом, но потом Никита, изловчившись, выхватывает у Фрэдди девушку, один миг держит ее в вытянутых руках и затем бережно кладет к себе на седло. А девушка не та, что в сереньком клетчатом платье мелькала на экране, а Тоня Голубкина из тесового театра, из березовой рощи. Фрэдди изумлен ловкостью Никиты и, не будучи уверен в удаче отважного, такого же стремительного жеста, сдерживает взмыленного мустанга, восторгаясь достойным соперником. Девушка пожимает руку, касается раскаленной шеи победителя и пригибает его голову к своей для поцелуя.

...Никита приходит в себя только в двух шагах от реки. Плещется рыба, шумит вода на запруде, ветер любовно расчесывает густую листву березовой рощи. Никита переходит реку, ходит около театра, ищет девушку усталым, иступленным взором. И видит ее с чистеньким, ловко одетым Воробейчиковым, любитесь, как ладно и упруго ступают ее ноги в чулках цвета „загар“, и ему почему-то хочется есть и чаю с топле-

ным молоком. Так он ходит изо дня в день в березовую рощу и поздно ночью в июльской темноте, озаряемой тревожными зарницами, возвращается в Шадрино усталый и свирепый в свою постель на сеновале.

Через несколько дней ночью к рабочему поселку подъехал всадник. Он остановился на задворках Новой Слободы. Землю окутывала горячая безлунная июльская ночь. Где-то в поле вскипал и быстро гас томный девичий смех. Всадник лежал в канаве, чувствовал себя легким и сильным: казалось — он уже победил Фрэдди Эмерсона и давно ведет жизнь, полную отваги и приключений. Рядом с ним спокойно дышала лошадь, привязанная к забору. Долго он лежал, считая звезды, прислушиваясь к ночным шорохам, вглядываясь в темноту.

Сочна и благоуханна земля, велика и красива жизнь; цветут и спеют поля, жжет яркое солнце, горят цветные зори, гуляют по земле красивые, переполненные ласками девушки... Впереди замельтешило что-то живое. Тоня возвращалась с репетиции домой в Новую Слободу. Кто-то бросился на нее и накинул на голову душистый плат. Она взвизгнула, обиделась:

— Васька, не шали!.. — Но эти руки были сильнее васькиных... Они обхватили ее... понесли... Тоня, почувствовав недоброе, закричала... Рядом всхрапнула лошадь... Девушку подняли... положили... В бок ей уперлась лука седла... Кто-то взметнулся в седло... Лошадь запылала на месте, стараясь уяснить направление, подсказываемое взбесившимися поводями, наконец, метнулась в поле. Тоня кричала, но вокруг стояла большая равнодушная тишина ночных необъятных полей. Ночной воздух тек навстречу быстрой прохладной рекой. Наездник прижимал к себе девушку, изредка робко целовал в плечо. Эти поцелуи как бы проникали в кровь и спадали по телу жаркой волной. Ночь. Поле. Быстрый конь. И Тоня от разлившейся по телу удали прошептала:

— Развя-ж-и-и! — Плат с ее лица упал и повис на колосьях дозревающей ржи. Тоня увидела над собой загорелое возбужденное лицо парня и ласково коснулась ладонью его щеки.

В полночь на колхозной конюшне обнаружили пропажу самой лучшей лошади и седла. Тотчас же разбудили Ивана Евсеича Бессонова, председателя колхоза. Председатель явился незамедлительно, распек коню-

хов за недосмотр и тут же разослал по всем дорогам верховых в погоню за конокрадом. Один из них, конюх Щибров, встретил Никиту на высоком поле у ветряной мельницы и загородил ему путь своим конем. Никита понял, что лошадь, взятую им с конюшни, разыскивают, и опустил поводья, виновато посмотрев на встречного. Девушка, пользуясь его растерянностью, выскользнула из рук на землю.

— Зачем лошадь увел? — строго прикрикнул на него колхозник. — Отец рвет и мечет. Ой, и попадет же тебе...

Тоня пошла к фабрике. Она уходила быстро, боясь, как бы ее не остановили, не оскорбили. Никита обернулся с намерением что-то сказать ей, но она была уже далеко. Подобрал поводья и поехал к конюшне. Щибров поскакал вперед известить скорей, что пропавшая лошадь нашлась.

— Твой сынок на ней катается, — крикнул он, соскочив с лошади.

Никиту встретил рассерженный отец. Он сидел на ларе с овсом и молчаливо, угрюмо смотрел на сына. Чувствуя на себе его тяжелый взгляд, Никита неловко расседлал коня, отвел его в стойло и пошел к выходу.

— Стой! — услышал он суровый, с детства знакомый голос. Остановился.

— Отец твой из всех сил старается — колхоз организует, а ты, вместо того чтобы помогать, порядок разлагаешь, — закричал Иван Евсеевич. — Не сын ты мне... под суд отдам... Коня, можно сказать, загнал... Строгая тебе за это будет статья.

Вечером Тоня пришла на репетицию. К ней подошел Воробейчиков. Будто подменили его; в нем нельзя узнать прежнего смиренного ухажёра. В его взгляде она подметила что-то наглос.

— Ну как? — снисходительно ухмыльнулся он, — какво прогулялась в деревню?

Она оскорбленно вспыхнула:

— А тебе-то какое дело?

Немного погодя за кулисами он уцепился за нее. Девушка оттолкнула его. Во время третьего действия, в котором Тоня не была занята, Воробейчиков почтительно пригласил ее пройтись. Они пошли рощей.

— По душам, Тонюша, — заговорил счетовод. — Вот ведь на сто процентов я себе отчет отдаю, что без твоего согласия все это произошло. Может ты оказала со-

противление, но, несмотря на это, во мне будто что-то оборвалось, и вся нежность к тебе на восемьдесят процентов пропала... Мучаюсь я и никакого баланса чувств подвести не могу... И вот мне хочется узнать: на сколько процентов у тебя ко мне пристрастие... Если ты любишь меня на все сто, то я, может, найду в себе некоторое количество сил забыть это недоразумение...

Говорил он путанно и сухо. Девушке стало скучно и обидно. Она резко повернулась к театру.

— Можешь не забывать это... недоразумение, — гордо сказала она. — А на сколько процентов я люблю тебя — это значения не имеет.

Никита ушел от отца и поселился в соседнем совхозе у своего приятеля Тихона Глазкова, нацеливаясь устроиться тут на работу. Тихон обнадеживал: наступала страдная пора, в совхозе требовались рабочие. Вечером Никита гулял в компании совхозной молодежи. Играли две гармошки. Выходил плясать маленький седой агроном Имянеников, выкидывал замысловатые коленца и одну за другой вызывал плясать девушек. Никите тут вспомнилась Тоня, и он затосковал. На другой день был праздник. После полудня старик сторож Бареткин, бывший графский лакей, нашел Никиту за сараем, где он в компании конюхов и скотников играл в карты.

— Эй ты, широка спина, — коленкой толкнул парня сторож, — как тебя... Новенький. Поди-ка, тебя мадамзель спрашивает... Там за воротами она.

«Сестра, — подумал Никита, — отец, наверное, послал, домой велит идти». Он вышел за ворота и от удивления застыл на месте. Недалеко, впереди его на бугорочке сидела Тоня. В голубом маркизетовом платье, с розовым шарфиком на шее была она. Зеленый бугорок похоже расцвел большим красивым цветком. Никита остановился в отдалении...

— Вы... Вы ко мне, — все еще не веря своим глазам, спросил Никита. Она протянула ему в руке что-то белое и заговорила веселым звенящим голосом:

— Я платок принесла... Вы тогда его в поле уронили, а я на обратном пути нашла.

Никита взял его, расправил в руках.

— Это мамкин платок-то, — сказал обрадованно и смущенно. — Надо ей отдать. Идемте отдадим.

— Нет, — отказалась девушка. — Я опоздаю. У нас сегодня спектакль... так что я играю... Идемте со мной — на спектакль.

Это приглашение было так неожиданно, что Никита не успел даже обрадоваться.

— Идемте. — быстро согласился он. — Идемте.

Никита после спектакля не вернулся ни в совхоз, ни домой. Остался на фабрике, поступил грузчиком на железнодорожную ветку и устроился на квартиру вместе со своим одноклассником смазчиком Федором Широковым. Федор Широков снимал боковушку у старого красильщика отделочной фабрики Егора Ивановича Вьюгина. Это был веселый и задиристый старик. Он безгранично любил сына Васю и в то же время ссорился с ним, обижаясь на каждый пустяк. Однажды Егор Иванович с другом-приятелем своим Сваханькиным за приятной беседой походя высидели четвертную, а когда стали вставать, оказалось, что зашибло так крепко, что обоим пришлось прогулять утреннюю смену. На другой день Вьюгин узнал, что за него эту смену стоял сын, работавший тоже на красильном аппарате в другой смене. Отец был взволнован. Он принял это как большой укор. Встретив сына в проходе между машинами, он спросил строго и хмуро:

— Кто тебя просил за меня смену стоять?

Комсомолец лукаво прищурил глаза и прямо отрезал:

— Ты же мне сам много раз говорил: „Вьюгины не прогуливают... Вьюгины работают без брака“.

Отец опешил. Сын затронул самое уязвимое место — производственную честь старого рабочего и вызвал острую душевную боль. Отцу хотелось заглушить ее сердитым спором, осадить сына как можно хлеще, но сын был прав, ответить ему было нечего, и вместо резкой отповеди вышло только басовитое и смущенное бормотанье:

— Суешься везде... А знаешь ли ты, что я за всю свою жизнь только две смены пропустил...

Сын посмотрел прямо ему в глаза и сказал четко и раздельно:

— И это недопустимо.

— Ах ты, жалко, — с ноткой удивления прикрикнул на него отец. — Угов еще нет, а уж колется, как шило. — И тут же обрадованно оживился от ясной догадки: — Весь в меня такой упористый. Красильщик из него, пожалуй, выйдет лучше меня. Эх, жалко, ситцепечатные машины у нас до сих пор под чехлами... Будь они в ходу, я бы воспитал из него раклиста — первый сорт...

Через несколько дней сын опять потревожил покой

Егора Ивановича. В этот день отец пришел за десять минут до смены и, чтобы скоротать это время, принялся читать разные бумажки на доске объявлений. „А. И. Шляевой выговор за лежачье и спящее на товаре“, — прочитал он приказ начальника цеха. Это была девица из слободки, где жил Егор Иванович, он знал эту женщину и усмехнулся: „Ксюшка выговор заработала... Так ей, сонуле, и надо... Поделом“. „Краснознаменный комплект № 11, — читал он дальше, — передает свой опыт отстающему № 19“. Но вот что-то знакомое... Он придвинулся ближе к доске и узнал почерк сына. „Обязуюсь выполнять план на сто процентов и вызываю на соревнование Егора Ивановича Вьюгина,“ — писал Вася.

У Егора Ивановича перехватило дух. Он с усилием набрал полную грудь воздуха и с шумом выдохнул.

— Вот дьяволенок — наседает и наседает... С чего это он на меня вскинулся. Ну, я-то покажу, как с отцом баловать...

Он отыскал в кармане огрызок карандаша и написал наискосок бумажки храбро и крупно: „Вызоф принимаю Е. И. Вьюгин“.

В день отдыха за утреним чаем, будучи в приятном расположении духа, Егор Иванович сказал сыну:

— Ты у меня, Вася, милой души человек, но вот одно мне невдомек — с чего это ты меня взялся донимать... У меня одних займовых билетов на тыщу рублей: все подписывался — государству помогал, а ты меня подсекаешь; я тридцать два года на фабрике работаю, а ты на меня нападаешь...

— Я не подсекаю и не нападаю, а воспитываю, — усмешливо ответил сын.

Егор Иванович привскочил на стуле и воскликнул:

— Чудо-юдо беспокойное, я тридцать лет на фабрике, мне любилей пора справлять, а ты меня воспитывать... Нет уж, переучивать меня поздно, не воспитаешь.

— Воспитаем, — спокойно и уверенно ответил сын. — Будешь примерным на фабрике человеком.

— Воспи-и-таем, — сердито протянул отец. — Не ты ли уж воспитаешь.

— Партийцы, комсомольцы, вся наша общественность.

— Ну, ну — валийте, — с недоверием и обидой протянул Егор Иванович.

Прошла целая пятидневка, а Егор Иванович не добился значительных успехов. К тому же с ним случилось несчастье, и он приуныл. Около машины всегда было

сыро, застанвалась вода, щелочи, попадала сернистая краска, и он как-то в глубоком раздумье сравил подметки. Вдова Куренкова, работающая на его машине расправляльщицей товара, жалостно посмотрела в его растерянное лицо: — Эх ты, развеса, — с насмешливой укоризной сказала Куренкова, — сапожки знаешь почему?

— Тебе забота, — огрызнулся Егор Иванович. — Не твоё сравил.

— Да на тебя грусть смотреть, — уверенно продолжала Куренкова, — ходишь — ручки опустил; такой дядя сыну поддался. Твой Василий выполняет сто семь процентов, а ты, старый красильщик, — отстаешь.

В этот вечер Егор Иванович шел домой один, чувствуя себя недовольным и злым. На кого должны были пасть его обвинения — он не знал и потому обращал свою ненависть то на себя, то на окружающих. На другой день он вышел на фабрику за полтора часа до смены с сапогами подмышкой и посетил фабком. Он говорил, кричал, хмурился, ковырял подметки ногтем и, доказав, что сравил сапоги на производстве, потребовал ордер на спецобувь.

— Ну, мы выдадим тебе спецобувь, — отвечал предфабкома, — получишь ты ее и завтра опять сравишь. Сколько же тебе сапогов надо? Ты тут давно работаешь, — придумай какое-нибудь предохранение. Неужели ничего нельзя сделать?!

Егор Иванович почувствовал себя неловко и с жаром высказал то, о чем думал не раз:

— Мостки бы вокруг машины навести... — Эта мысль ему понравилась. Мостки были в его глазах таким неотложным делом, что он заговорил требовательно, раздосадованно: — Сто раз я об этом говорил, и никто внимания не обращает на мои слова. Скольких подметок лишился и все из моего кармана... Первый раз, — он потряс негодными сапогами, — взамен прошу, а то все своим кошельком обходился.

В материальном складе ему выдали новые сапоги, и он стал работать внимательнее. Находясь как-то в приподнятом состоянии духа, он весело хлопнул Куренкову по плечу и, видя, что она не протестует, нежно ущипнул ее за бок. Куренкова томно повела плечом, делая вид, что хочет оттолкнуть его:

— Заигрывай... Заигрывай... Вишь кавалер какой нашелся. Вот я старухе-то скажу.

Егор Иванович ничего не ответил. Он только вздохнул. Да, эта добрая, приятная женщина была немножко резка на язык. Придя на работу после дня отдыха и взглянув на свою машину, он отшатнулся. Даже: вокруг нее были наведены новехонькие мостки. Это было так приятно и неожиданно, что его охватило радостное волнение, захотелось пойти и еще предложить что-нибудь такое же полезное. Оживленный, сияющий, он принялся за работу, но это чудесное настроение ему испортила Куренкова.

— Вишь радуется, как маленький, — она покосилась на Егора Ивановича, — подумаешь, какое изобретение сделал... И ребенок додумается через лужу доску положить... Все равно ведь выработка от твоих мостков не поднимется, а вон Василий-то, говорят, тебя на двадцать пять процентов обставил.

От ее слов Егора Ивановича бросило в озноб. На чистоту сознаться — давненько он сердит на Куренкову. Всегда она перед ним заносится. Временами кажется, что заигрывает и тут же дразнит, говорит неприятные слова... Выставляет себя вон каким большим человеком, а сама такую должность занимает — зайцам на смех: вся ее работа заключается в том, что сидит она на высоком стуле и чуть-чуть пальцам и растягивает полотно, идущее в аппарат. «Вот сделать бы вместо нее, — подумал Егор Иванович, — какие-нибудь рожки, чтобы растягивали, или прут, чтобы расправлял, и будет распрекрасно.

Обдумав это заново, он усмехнулся — до того ловким показался ему подвох и смешным положение Куренковой, когда ее заменят рожками... Будет тогда она помнить „развесю“. Эту мысль он пестовал всю смену и после работы очень торопился домой, надеясь, что дома, в родной тишине, он окончательно все обдумает. На другой день он пришел в фабком и с таинственным видом подал председателю бумажку, в которой было написано: „Рабочее предложение. У красильных аппаратов вместо расправильниц из обеих смен вделать рожки, а способнее всего резиновый прут на железнине, чтобы шершавый — лучше будет задевать — и выгнутый немного, чтобы натягивал и расправлял полотно. Чертеж на этом же листке. Е. И. Вьюгин“. Ниже подписи Егор Иванович изобразил слегка изогнутый прут, делающий четверть оборота. К нему тянулось из ящика полотно, смятое жгутом, а от прута полотно отходило расправ-

ленным, как постланная скатерть... В тот день он тронул Куренкову за плечо и сказал ей на ухо:

— А Василья-то я опережу — вот помани мое слово.

— Тебе, Иваныч, это, видно, приснилось, а ты думаешь взаправду так будет, — ответила Куренкова.

— Вот увидишь... И ты, может быть, кое-что почувствуешь, — намекнул Егор Иванович.

— Чего же это я почувствую? — насторожилась Куренкова.

— Так это я — к слову пришлось, — увильнул Егор Иваныч.

Предложение Вьюгина вскоре было принято, он переживал большое внутреннее удовлетворение и, часто взглядывая на Куренкову, думал: „Последние дни ты, бабочка, тут сидишь... Куда пойдешь? Ведь никакой квалификации у тебя нет. — И тут ему жалко стало ее — ведь как-никак жить человеку надо. К тому же у нее ребятишек. В банкаброшницы бы ее — там дело тоже немудреное — скорехонько обучится“. Он ходил к заведующему фабрикой и просил устроить Куренкову на банкаброши.

— А тебе, Вьюгин, какое до этого дело. Надо будет устроим.

— Как же... — удивился Егор Иванович. — Я ее устраиваю с машины своим изобретением и должен о ней позаботиться.

Пришло время — к аппарату приделали выгнутый прут, обтянутый резиной, и он стал расправлять полотно лучше Куренковой, которая нередко отвлекалась или застывала в рассеянности. Куренкова обиделась и напугалась. Егор Иванович предвидел это и подошел успокоить:

— Дарьюшка, ты не расстраивайся, — сказал он. — Я уж выхлопотал тебе место. На банкаброшах будешь работать.

Успех окрылил Егора Ивановича. Он чувствовал себя легко и молодо. В ближайший день отдыха за утренним чаем он заметил, что сын смотрит на него кротко и подобострастно, горделиво приосанился и заговорил с ним участливо, душевно:

— Ты бы, Вася, вызвал кого-нибудь послабше... Теперь вот стало ясно, что я тебя опережу... Нехорошо тебе будет, перед комсомольцами стыдно.

— Опередишь?.. — неопределенно сказал сын. — Вот и хорошо. А обо мне ты не беспокойся.

Егора Ивановича занимало главное: сын теперь вы-

полнял на сто сорок процентов, а у него, Егора Ивановича, выработка едва доходила до ста — ведь его приспособление давало экономию, а производительность не увеличивало. Сын достигал высокой производительности расторопностью, быстротой, неослабным вниманием к машине. «Силами мериться с ним мне теперь уж поздно», — думал Егор Иванович. Ему хотелось придумать что-нибудь для усиления темпа красильного аппарата, чтобы опередить Василия без особой затраты сил. Раздумывая об этом, он накладывал черпаком разведенную краску из чана в аппарат; в раздумье неловко опустил черпак в жидкость, и в лицо ему бросились брызги.

— Так глаза себе выжжешь, — воскликнул он, — сколько раз это мне грозило.

Егор Иванович нередко мечтал избавиться от этих ожогов, собирался провести трубку с краской от чана к аппарату, но не знал, куда обращаться, не хотелось хлопотать, да вдобавок думал, что это не его дело. Администрация лучше его видит и знает. Теперь же он на своем опыте убедился, что администрация многого не видит. Егора Ивановича охватила мелкая нервная дрожь; в сознании всплыла догадка, что трубка не только избавит от ожогов, но увеличит выработку. Тогда в аппарат можно заливать краску всего только в несколько минут, вдвое, втрое сократится простой машины. Он двинулся к соседям попросить листок и бумагу, чтобы записать свою мысль, но остановился в нерешительности. — Бумажка несколько дней пробудет в фабкоме, потом попадет в бюро по изобретательству, а может разбираться в инженерно-технической секции; пройдет недели две, три, а за это время сын так шагнет вперед, что его никогда и не достигнешь. Егор Иванович впал в отчаяние, уже очень поздно он набрел на эту замечательную мысль. Его взяла оторопь, и он расхрабрился — решил идти прямо к колористу. На лестнице с ним встретилась Куренкова. Обласкала его взглядом, заговорила мягко и сердечно: — Собиралась все зайти к тебе — спасибо сказать, а ты вот сам навстречу... Из-за твоего изобретения меня на хорошее место перевели — теперь на серебристой каландре работаю.

— Я же тебя на банкаброши выпросил, — строго заметил Егор Иванович.

— Не послушались, видно, тебя, на каландру поставили. Мне нравится. И заработок выше. Так что все очень хорошо обошлось.

— А раз хорошо, так и работай на доброе здоровье, — сказал на прощание Егор Иванович.

Вася часто проводил свой досуг в боковушке в обществе Никиты и Федора Широкова. Характером он был в мать — тетюшку Харитину — тихую, рассудительную женщину. Вася тихо и увлекательно рассказывал Никите и Федору все, что вычитал из книг или узнал на занятиях технического кружка, который посещал четыре раза в месяц. Часто заходил сюда и Егор Иванович, веселый, здоровый. Острые глаза его светились умом и живостью. Ему сопутствовал успех, и оттого он был внимателен, ласков ко всем, а особенно к домашним.

— Ребята вы уж очень хорошие, — говорил он с чувством превосходства, важно развалился на стуле. — Будь у нас ситцепечатные машины в ходу, я бы из вас, ребята, раклистов воспитал — первый сорт...

Красильщиком на барочках я хоть сейчас работаю, но это не моя специальность. Я раклист. Ситцепечатник. Работа благородная, художественная. Поставь меня на машину — я таких ли ситцов накрашу — любо-дорого. Девушки поглядят — до румянцу обрадуются. Должностешки-то у вас неважные. Надо получше. Я вон Дарью Куренкову железным с резиной прутком заменил, думал — погубил человека, а вышло к лучшему. Спасибо мне говорит. Вот и вас в дело произведу... Пойдут ситцепечатные, обучу в раклисты, и будете получать хорошую денежку.

Заходила в боковушку и тетюшка Харитина. Завернет на одну минуту и скажет:

— Молодцы, давайте я вам рубахи-то постираю.

Особую заботу она выказывала по отношению к Федору Широкову. Пойдет он в кино или в рощу разгуляться, тетюшка Харитина обязательно его остановит:

— Федор, погоди, я на тебе рубашку оправлю... Ох, дитятко ты неаккуратное. Кость тебе матушка дала широкую, везде углы, везде топырится... Фигурой ты ведь правильный, только ухватка у тебя такая неловкая — медвежья.

Федор был человеком замкнутым, чудаковатым и немногословным. Казалось, что его ничто на свете не интересует, не занимает, не беспокоит.

Остроглазый Егор Иванович давно заметил странности его характера, часто подшучивал над ним. Посмотрит в небо и воскликнет с мальчишеской восторженностью:

— Фе-едя, аэроплан летит!

Федор не поднимет головы, не поведет даже глазом:

— Ну, и пускай летит, мне-то что...

Егор Иванович кивал головой в сторону деревенской ветрянки, паучком прилепившейся к далекой синеве горизонта, и спрашивал:

— А если мельница полетит?... Неужели не взглянешь?

— Нет... Лети-и... Жалко что ли. Чего тут глядеть... Может буря большая будет, так и вправду с копылков полетит... — А если, скажем, фабрика полетит? — продолжал пытаться Егор Иванович. — Не взглянешь?

Еле заметное оживление пробежало по широкому лицу Федора, слабое подобие улыбки играло в уголках губ, и Федор с увлечением отвечал:

— По-огляжу-у.

Егор Иванович садился с ним рядом и, устало переводя дух, заключал:

— То-то, дьявол бесчувственный, пробрал-таки я тебя.

— Так ведь ты схватил меня за самое дорогое, — отвечал, как бы оправдываясь, Федор: — фабрика, к примеру сказать, улетит, так где же я работать-то буду.

Егор Иванович очень любил свою фабрику и пылко отзывался на эти слова:

— Верно, Федор, — самое дорогое... Фабрику беречь надо, она — основа основ нашей жизни.

Вася Вьюгин пытался воспитывать Федора, или, как выражался Егор Иванович, „обтесывать“.

— Совсем ты, Федор, малограмотный, — говорил он ему, — еле-еле читаешь... Темный... Учиться поезжай или хоть на курсы поступи.

— Не отпускают, — лениво гудел Федор, не обдумав как следует ответ.

— Кто тебя не отпускает?

— Известно кто — директор.

— Не говори, Федор, неправду, — возмущался Вася Вьюгин. — Ну, с какой это стати директору вздумается тебя не отпускать.

— А с такой — как незаменимого работника.

— Эка хватил, — смеясь, качал головой Вася Вьюгин. — Смазчик — незаменимый работник. Давно ли это? Ну, ладно... Если уж учиться не хочешь, так сходил бы в библиотеку, взял бы книгу хорошую, а то читаешь какую-то несусветную дрянь.

— Возьмешь, да еще потеряешь, из жалованья и вычтут... Я зна-а-ю, — бурчал Федор.

— Если ты боишься, что с тебя что-нибудь вычтут, так я могу для тебя взять в библиотеке, хочешь? Будешь читать?

— А зачем? Мне и эта годится, чтобы не забыть буквы и заснуть поскорее.

Нашел он эту книжонку где-то в заулке, в куче мусора, вымыл в кадке с водой, поставленной у дома Вьюгина, высушил и стал наслаждаться чтением на сон грядущий. Книжонка называлась „Чудеса угодника и святителя Питирима“. „У одной дамы дети не раз исцелялись от смертельных болезней, и сама она не раз была исцелена угодником. У нее был нарыв на дальнем ухе, и доктора назначили операцию — пробивать череп за ухом и вычищать гной, который мог броситься на мозг. Дама эта оставила все медицинские средства, ходила к обедне, а в ухо капала по три капли деревянного масла, взятого из лампады, горящей у мощей угодника. С того времени дама сразу стала здорова. А после того угодник исцелил ее от невралгии и беспричинного замирания сердца“.

Дочитав до того места, Федор Широков медленно сладко засыпал. Книжонка выпадала из рук на широкую, жирную грудь, веки слипались, и он уже в полусне еле внятно бормотал:

— Вот у этой дамы сразу сколько болезней-то скопилось... А ведь есть такие ледащие... От замирания-то сердца ее, конечно, не угодник, а монахи вылечили... Я зна-а-ю...

Эта мифическая болезненная дама служила Федору мишенью для насмешек и ехидных рассуждений. Она являлась в его глазах вместилищем всех пороков, болезней и слабостей. Между строк он видел ее греховную связь с монахами, и книжонка о „чудесах“ в его толковании выглядела сугубо антирелигиозной. Укладываясь вечером спать, он брался за нее и говорил: — Почитать что ли про ледащую-то, скорее усну... Уж больно она к болезням-то липучая была...

Сам Федор любил женщин крупных и отменно здоровых. С некоторых пор он стал проводить вечера у стены боковушки. Сядет на лужок, прислонится спиной к стене и сидит часами, не спуская взгляда с крыльца соседнего дома. На крыльце изредка появляется плотная, высокая женщина. Лицо Федора, скучное и стылое до этого, моментально преображается: на мясистых щеках появляется румянец, губы шепчут что-то нежное и

невнятное... Он поспешно вытаскивает из кармана дорогие, на случай припасенные папиросы, закуривает и, грациозно откидывая руку с папироской, пробует завести с женщиной сердечный разговор. Она отвечает ему небрежно и насмешливо и, как будто до тонкости зная все его намерения, лукаво улыбается. Федор из всех сил изопряется в любезностях, но женщина исчезает с крыльца так же неожиданно и быстро, как и появляется. Федор жадно докуривает папиросу, окурков неистово втаптывает каблук ботинка в землю, снова никнет весь, становится вялым, ко всему безразличным, но не уходит со своего места, все смотрит на крыльцо и ждет появления приглянувшейся ему женщины. Никита обычно наблюдает за ним из окна боковушки, удивляется его невозмутимости и терпению и строит догадки: по сердцу Федор этой женщине или нет, преуспеет он в своих намерениях или она отвергнет его признания.

На углу соседнего новенького дома висит синяя железка, на ней белыми строкой написано „Дом № 49 Г. С. Куприянова“. Года три тому назад Куприянов женился на милой, веселой, здоровой девушке, пришедшей на фабрику из деревни. Она быстро выучилась мастерству ватерщицы и стала хорошей работницей. Молодые супруги жили на частной квартире. Было неудобно, тесно. Решили строить свой дом.

„Без своего дома нельзя, — рассуждал Григорий Куприянов, — в углах и боковушках жить надоело... К тому же дети пойдут, а с детьми на чужих квартирах — беда: и ты всем мешаешь и тебе все мешают“. Куприяновы принялись строить дом и выстроили, но Григорий смолоду отличался незавидным здоровьем, а тут совсем занемог, слег в больницу и умер, не пожив в новом доме. Вдова достраивала домик одна.

...Недели через две дежурства Федора кончились. Последний раз Никита наблюдал такую сцену. На крыльцо нового дома вышла женщина, блаженно потягиваясь.

— Евдокия Ивановна, с теплым вечером, — громко и смело приветствовал ее Федор.

— Ну и тебя с тем же, — снисходительно ответила она и села на крыльцо.

— Соснули после смены-то?

— Уснула.

— То-то заметно — профиль свежий... Стало быть, спали спокойным сном.

— Да нет... Все он снится... Замаялась... Наснится — так вся и вздрогну.

— В вашей-то натуре тяжело — вишь вздрагиваете.

— Вздрогну и еле отойду. — Женщина изображает, как это происходит: закрывает глаза и, вздрогнув, медленно открывает их. Федор любит ее и медленно говорит:

— Да... да... да... вздрагиваете... А сейчас куда, Евдокия Ивановна, собрались?

— Вышла вот сюда продышаться.

— Продышаться — это умно. Погода — замечательная... Ни один листочек не шевельнется.

Вдова молчит и о чем-то думает.

Федор пугается ее молчания, ему кажется, что с этой минуты навсегда она лишила его своего внимания, и растерянно пытается вновь начать разговор.

— Евдокия Ивановна, так вздрагиваете? — спрашивает он.

— Я тебе говорила...

— Да, да, да... А вы, чтобы не пужаться, кладите кого-нибудь с собой.

— И то уж сплю с квартиранткой.

— И все равно снится?

— Снится.

— И все равно вздрагиваете?

— Ну что ты привязался...

— Я вам прямо скажу, Евдокия Ивановна, — квартирантка тут не поможет. Надо о другом думать...

— Все уж дувано-передумано, — неопределенно говорит соседка и встает: — пойду самоварчик вскипячу, чайку попью...

— Самоварчик — это умно, — подхватывает Федор. — Я тоже еще не пивал... Стаканчик, другой сейчас бы с охотой...

Он ждет ответа, но соседка молча поднимается по ступенькам.

— Одной-то, поди, и днем-то страшновато? — наудачу спрашивает Федор.

— Конечно-о...

— Днем-то не вздрагива...

Скрипнула и захлопнулась дверь. Федор вытирает рукавом рубахи вспотевшее лицо и закуривает. Он отдыхает.

Из трубы куприяновского дома поднялась и вьется кудерька дыма. Проходят пять, десять минут... В окно видно, как соседка покрывает стол скатертью, самовар,

видимо, вскипел. „Махнуть к ней... что не смей-то, — раздумывает Федор, — может быть рада будет“. Он порывается встать и пойти к соседке, но несмелость останавливает его. Федор с вождением смотрит на окно, и вдруг... Но нет, верить ли глазам? В окне призывно качнулась белая, гибкая рука...

Федор стремительно бросается в боковушку, берет из сундучка давно припасенную на сей случай бутылку портвейна и в один миг перемахивает переулком.

Когда Никита рассказал об этом Вьюгиным, Егор Иванович сказал:

— Ну, значит, теперь мы с ним соседями будем.

— Большое счастье Федька охватил, — заявила тетюшка Харитина. — Она бабочка хорошая, собой гладкая, характером ровная.

Шадринская мельница, виднеющаяся на горизонте, весь день махала крыльями, но к вечеру остановилась. Ветер стих. В рабочем поселке вечернее затишье. Только в низине у реки ровно и приглушенно шумит фабрика, да пронзительно свистит паровоз на железнодорожной ветке. Никита Бессонов и Вьюгины отец и сын сидят под окнами своего дома на лавочке и мирно беседуют. Улицу наискось переходит Гаврила Семеныч Сваханькин. Он возвращается с охоты.

— Дружок, зайди сюда, — кричит Егор Иваныч. — Покажи, много ли настрелял.

— Сваханькин подходит. Егор Иваныч бесцеремонно лезет рукой в его охотничью сумку и вытаскивает двух дроздов.

— Немного ты, Гаврюша, в лесу навредил... По кустам все шнырял. Ты все по кустам... Ты болота боишься.

— Не люблю, — говорит Гаврила Семеныч, — в болоте уж очень грязно... утонуть можно.

— Сваханькин известен в поселке как страстный, но неудачливый охотник.

— Гаврила Семеныч, почему ты собаку не заведешь? — спрашивает его Вася Вьюгин.

— А на что мне собака? Я сам знаю, где дичь пребывает... За двести шагов любую птицу вижу, знаю, куда она полетит и где сядет. Пойдем завтра со мной — я тебя вполне обучу охотничьему делу.

— Знаю я, как с тобой ходить... Своего друга Егора Иваныча ты как обучал? Заметил выводок тетеревей и го-

воришь: забегай с той стороны, шугни на меня... Забежал Егор Иванович, шугнул, и тетерева полетели, но только не в сторону охотника, а совсем в другую.

— Так это уж так, — смущенно бормочет Сваханькин, — не повезло... А то бы я их всех перестрелял...

К беседующим медленно и важно подходит Федор Широков.

— Привет всем трудящим гражданам, — приветствует он друзей, — а как, значит, здесь все трудящие, то, стало быть, всем вообще...

Егор Иванович приподнимается и пожимает руку Федора.

— Большой привет моему новому соседу и со счастливым браком. — Его примеру следуют Вася Вьюгин, Никита Бессонов, Сваханькин. Федор и сконфужен и доволен.

— Зачем, Федя, пожаловал? — спрашивает Егор Иванович.

— За сундучком... И расплатиться.. Ищите другого квартиранта.

Егор Иванович притворно удивляется и обводит всех вопросительным взглядом:

— Вот как... А я ведь думал, ты пришел нас на свадьбу приглашать.

— Какая свадьба, — мнется Федор, — ноне свадьбы-то не в моде.

— Это уж ты, Федя, напрасно, — возражает Егор Иванович. — Свадьбы всегда будут в моде. Жадничаешь... А то устроил бы... Споем, спляшем, и будет твое счастье, прочно...

Федор помолчал и уклончиво ответил:

— Надо с женой обсудить.

Федор ушел в дом, расплатился с хозяевами, взял из-под кровати свой сундучок. Тетушка Харитина проводила его на улицу, осыпала множеством добрых пожеланий. На улице его ждали Вася Вьюгин и Никита Бессонов. Сваханькин ушел. Он уже сидел около своего дома и потрошил убитых дроздов. Вася Вьюгин стоял с палкой в руке. При выходе Федора он вытянул руки вперед и, объявив „марш счастливый сосед“, взмахнул палкой. Вася и Никита заиграли на губах бравурный марш. Федор крупным строевым шагом пошел через проулок к новому дому.

Никита страдал. Страдал затаенно, молчаливо. Тоня Голубкина пришла за ним, увела его на фабрику и

первое время была с ним ласкова. Когда же романтическая ночь с похищением ее, с бешеной скачкой на лошади по пустынному ночному полю забылась, когда мужественный, сильный деревенский парень, похожий на ковбоя Фредди, предстал пред ней скучным грузчиком с железнодорожной ветки, она перестала замечать его. Никита каждый вечер всюду искал ее. Иногда ему удавалось сесть рядом с ней, заговорить. Тоня скучающе отвечала ему. Он приглашал ее пройтись в поле, на реку. Она отрицательно метала головкой. Тут раздавался голос у окна клуба:

— Голубкина, начинаем второй акт, ваш выход. И она уходила. Никита, хмурый и раздраженный, отправлялся домой, чувствуя себя униженным и одиноким. Наконец это ему надоело, и он перестал искать с нею встречи. Пусть она почувствует, что потеряла его, и тогда сама придет к нему, как пришла тогда в совхоз. Никита перестал появляться в саду, в клубе. Все вечера он проводил теперь дома в обществе Васи Вьюгина и Егора Иваныча. Любовь, тоска и досада грызли его сердце, но он держался спокойно, тихо, и только частая задумчивость и невеселый взгляд выдавали его страдание. К нему прибавились еще новые испытания. Друзья оставили его: Федор Широков покинул боковушку, найдя свое счастье в новеньком домике красивой вдовы, Вася Вьюгин уехал в город определяться на учебу. Тоня не приходила за ним и ничем не давала о себе знать. Его одиночество скрашивал один Егор Иваныч своими задорными беседами и обещаниями выучить на раклиста. Но когда пустят ситцепечатную — никто не знал, и обещания Егора Иваныча оставались далеким манящим зовом. Приходил Сваханькин, хвастался своими необычайными способностями охотника. Егор Иваныч начинал подтрунивать над ним. Сваханькин не терял своего невозмутимого спокойствия, делая вид, что не понимает шуток.

— Скажи ты мне, как по-охотничьему называется хвост у понтера? — спрашивал Егор Иваныч.

— Прут.

— Правильно. Стало быть, ты взаправду малость охотник.

Сваханькин — маленький старичок с тихим сухим лицом.

Кожа на его лице была темнокоричневой, как тот густой чай, который он очень любил и пил его до пяти

раз в день. Сваханькин важно тронул редкие седые усы и заговорил:

— Вот раз мы с Егором Ивановичем на охоте были... И решил мой друг-приятель доказать, что он дальше меня видит. Говорит:

— Видишь ли, Сваханькин, во-о на той березе комар сидит.

Я поглядел на эту березу и отвечаю:

— Очень хорошо вижу комара и еще вижу, что тот комар на один глаз косой.

Мой разлюбезный Егор Иванович подивился:

— Да что ты говоришь?! Сложил руки подозрной трубой, приставил к левому глазу:

— Комара хорошо различаю, вижу, как он правой задней ногой брюхо чешет, а косины в его глазах не замечаю.

Идем дальше. Егор Иванович за плечо меня — хоп, замри. Замер — не шевелюсь. Егор Иванович вскидывает к плечу ружье и шепчет мне:

— Рябчик.. Сейчас я его... Бад!.. — У моего уха выстрелил. Я еле опаматовался. Пришел в себя. Гляжу — по воздуху какие-то серенькие перышки порхают — раздробил он, думаю, всего рябчика-то... А Егор Иванович закрыл лицо ладонью пиджака и кричит не своим голосом:

— Бежим.

Что такое? Вдруг мне в шею — вжик, в руку — вжик, в щеку... Тут мы из леса-то и помчались. Рябчика-то не было. Висело тут осиное гнездо: Егор Иванович в него и запалил.

— Все правда, — заключил Егор Иванович рассказ Сваханькина, — выходит, что ты по всем статьям охотник, а я нет.

На место Федора Широкова в боковушку пришел новый квартирант.

— Самсон Дурденевский! — гордо отрекомендовался он Никите. — Я человек сердечный, всей душой расположен к приятным людям, со мной жить хорошо, я не обижу, а в случае подходящего вдохновения могу отметить стихами. Не найдется ли у вас пятерки до первой получки? — Никита ссудил ему пятерку. Дурденевский вернулся в тот же вечер на ночлег очень поздно. Хозяйка отпирала ему дверь, с крыльца слышно было, как он хватался руками за тесовую стенку и громко взывал в темноте:

— Дорогая тетушка, Харитина Петровна, одну минуточку... Только одну ик... минуточку... я сейчас вспомню и прочитаю вам сво рыли... лиры... лирические стихи.

— До стихов ли мне на старости лет, — ворчала тетушка Харитина. — Корову вот скоро сгонять надо. Явился в полночь, оторвал меня от самого сладкого сна. Я вот хозяйина кликну. У нас все квартиранты были умники, один ты такой выискался.

На другой день Дурденевский вновь попросил у Никиты взаймы, но тот, знающий цену деньгам, любящий в жизни порядок, отказал.

Дурденевский с горечью заговорил, что его и здесь, как и всюду, не понимают, но Никита перебил его:

— Чего это ты вчера ночью-то расшумелся, тетушку Харитину обидел.

— И совсем не обижал.. Я только просил ее выслушать стихи моего собственного вдохновения.

— Будто бы ты сам сочинил?! — усомнился Никита.

— Собственной головой. — Дурденевский шлепнул себя ладонью по лбу и тут же с жаром прочитал длинное стихотворение, которое называлось „Разведенка и стрелок“.

Из стихотворения Никита понял, что стрелок — это сам поэт Самсон Дурденевский. Он служил стрелком военизированной охраны фабрики. Разведенка — какая-то женщина, которая недавно разошлась с мужем.

Стрелок воспевал те чувства, то волнение, какие он испытывает на своем посту, когда женщина эта идет проходной будкой домой с работы.

— Занятно, — сказал Никита, выслушав стихотворение, — только неувязки много. Я читал разные стихи — там складнее.

— Вот-вот, — подхватил Дурденевский, — так и в редакции мне говорили:

— У вас всяких ошибок много. — Как же, говорю, не быть ошибкам, когда я сочиняю моментально: раз — и карточки готовы. Вот этот стих, говорю, я сочинил после чаю в течение девяти минут. — Надо, говорят, работать долго. — У, меня, говорю, поэзия моментальная, по причине чего, ответил я, писать долго не умею.

Получку свою он в течение нескольких дней проживал, а потом старался найти простачка и занять у него денег. Тетушка Харитина не влюбилась в него и стала звать — Самсонка. Каждое утро она говорила за столом:

— Вчера Самсонка опять пришел на покой после полуночи и был маленько хватя...

Егор Иванович жалостно глядел на него, говорил:

— Легковесный ты, Самсон, человек... Давай я тобой поруковожу. Придешь ты мало-помалу в сознание, а потом ситцепечатную пустят, я из тебя раклиста сделаю, и будешь ты на весь свой век человек с хорошей профессией.

Надежды Никиты оправдались — Тоня пришла к нему. Был тихий предосенний вечер. С шадринских полей врывался в рабочий поселок холодноватый ветерок. Мельница в Шадрине живо и часто взмахивала крыльями. Издалека она походила на человека, занимающегося гимнастикой. В поселке убрали с огородов, всюду пахло жухлой картофельной ботвой. Фабричный парк стал тише, в него с каждым вечером все меньше и меньше приходило гуляющих. Опадали листья с берез и лип, вечером парк шумел угрюмо и глухо. Сваханькин, Егор Иванович и Никита сидели на завалинке. Самсон Дурденевский лежал на лужайке под рябиной и смотрел в небо. Перед Сваханькиным стояла тележка с дровами, за спиной у него висело ружье.

— Так вот какой ты у меня ловкий, — сказал ему Егор Иванович, — ходил за дичью, а настрелял дров.

— И то дело, — спокойно отозвался Сваханькин, поддевая тоненькой цыгарочкой махорку из банки с надписью „китайский чай“.

— И я про то говорю, что дело, — загорячился Егор Иванович, — дичи не набьешь, так дров настреляешь, и выходит, что живешь без промаха. Самсон, подойди-ка сюда.

Дурденевский приподнялся, но не встал.

— Не замай, — ответил он, — у меня в голове стихи складываются.

— Я тоже про стихи хочу потолковать, — вскипел Егор Иванович. — Написал бы вот про нашу дружбу. Есть, мол, на свете два человека... Всю жизнь они друг дружке ласкового слова не сказали, а жить друг без друга не могут, и один за другого все готов отдать.

Сваханькин оживился и своей маленькой сухой рукой мягко коснулся плеча Егора Ивановича:

— Правильно, Егор. Пречудная у нас дружба по гроб жизни.

Самсон Дурденевский вскочил вдруг с лужайки и восхищенно сообщил:

— Братцы, смотрите-ка — девушка-то какая идет

Прелесть, прелесть. Прямо-таки чудное мгновенье, — передо мной явилась ты“. Следите, как я к ней подкачусь: раз, два — будем знакомы. Дурденевский подтянул ремень, пригладил пятерней волосы и застыл, фартово откинув ногу. Девушка взгляделась в сидящих на завалинке и решительно свернула к ним. Она прошла мимо Дурденевского так смело, что даже он как-то невольно посторонился.

— Здравствуйте! — Тоня мило кивнула старикам.

— Тебя нигде не видно, — с упреком сказала она Никите, протянув руку. — Как будто сквозь землю провалился... А мне нужно тебе кое-что сказать. — Никита смущенно молчал. Потом он встал.

— До свиданья, — громко сказала Тоня старикам и пошла по улице быстро, деловито, не оглядываясь.

Егор Иваныч укоризненно поглядел на Никиту и сделал короткий жест рукой, — дескать, спеша к ней. Никита сделал несколько крупных шагов и поравнялся с девушкой. Тоня поглядела на Никиту снизу вверх и заговорила медлительно, устало.

— Я едва нашла тебя, а уезжать, ничего не сказав тебе, мне не хотелось.

Никита вздрогнул.

— Куда уезжать, — вырвалось у него громко, властно, по-хозяйски. Тоня самодовольно усмехнулась:

— Что ты кричишь на меня... Разве я не могу поехать?

— Нет, я ничего, но почему и куда уезжать?

— Я завтра уезжаю в театральную школу, хочу быть артисткой. И вот заходила тебе это сказать.

— И все?

— Все.

Никита вздохнул и нахмурился. Радость свидания с любимой девушкой сменилась предчувствием большой тоски по ней. И в ту минуту он почувствовал, что потеряет ее навсегда. Красивая даровитая артистка и грузчик на железнодорожной ветке — люди разные. Никита представил себе будущую встречу. По накаленному летним солнцем песку он идет мимо рельс на погрузку вагонов. В это время от станции только что отошел утренний поезд дальнего следования. Поезд медленно пробирается по стыкам рельс от стрелки к стрелке. В окне вагона как будто бы знакомое женское лицо. Женщина пристально вematривается в грузчика и потом снисходительно, самодовольно улыбается ему.

— Кто она, эта знакомая женщина? — взволнованно думает Никита. И вдруг его осеняют воспоминания.

— Да это же Тоня Голубкина.

Из всех сил он бросается к вагону, чтобы дать знать, что он узнал, помнит ее, чтобы крикнуть слово привет, помахать рукой...

Но поезд, выбравшись на прямой путь, несется вперед с бешеной стремительностью, вагоны становятся все меньше и меньше, потом совсем скрываются — поезд пошел под уклон, а грузчик все бежит, бежит...

Тоня прервала его раздумье:

— Вот я здесь живу, — и указала на желтый, обитый тесом домик. — До свиданья... Прощай... Пожелай мне успехов.

Ему стало досадно на себя. Он прошел всю улицу и не сказал девушке ни слова.

— Пройдемся еще! — просяще сказал Никита.

— У меня нет времени. Я завтра уезжаю — мне нужно собраться, у меня еще ничего не готово.

— Ну хоть только до реки, — просил Никита.

— Нет, — заупрямилась Тоня, — я и так потеряла много времени. Мне нужно укладывать чемодан. Всего. — Она протянула руку. Никита схватил и прижал худенькие длинные ее руки к своим губам. Тоня оглянулась на крыльцо своего дома, увидела сходящую по лестнице мать и, густо покраснев, отняла руки. Мать прошла в сад. Тоня подышала на руку, как в детстве дышала на ушибленное место, чтобы скорее зажило. Она сейчас вспомнила детство и маленькие детские горести, ушибы, порезы и усмехнулась. Быстро согнав улыбку с лица, стала вдруг серьезной, прощально поклонилась и пошла домой.

Грузчики сидели на рундуке склада. Пришел артельный, сказал:

— Через полчаса подадут вагоны с хлопком. Будем разгружать.

Откуда-то из-за складов появился юркий старик — грузчик по прозвищу „Конкретный“, сообщил свежую новость:

— Машинист свою дочку в артистки провожает. Народу сколько с ней прощаться пришло — целая организация. Ко-о-нкретно провожают.

— Она хорошо спектакли играет — ее следует в артистки определить, — единодушно отозвались грузчики.

Никита встал с рундука и торопливо направился на перрон. Там он увидел большую группу людей. Тут были отец и мать Тони, братья, сестры, родственники, кружковцы из клуба. Тоня стояла в середине, счастливая, оживленная, и бойко разговаривала то с тем, то с



другим. В рабочей одежде грузчика Никита не посмел приблизиться к ней. Он долго стоял в стороне, любясь каждым поворотом головы, каждым движением девушки. Подошел поезд. Тоня расцеловала родственников, всем остальным принялась пожимать руки, но ей закричали: — Садись, сейчас отходит.

Она поспешила к вагону. Отец бегом тащил за ней чемодан. Паровоз свистнул тихо, уныло и повел вагоны как-то осторожно, бесшумно. Тоня стояла в тамбуре вагона. Никите хотелось, чтобы она взглянула на него, но она так была занята расставанием с родственниками, что не заметила его. Перрон опустел. Родственники и знакомые Тони ушли, а Никита все еще стоял. Потом он глянул вокруг — никого. Полуденное солнце жгло его. Он протер пальцем глаза, в них стояли слезы. Никита жадно втянул в себя воздух, надвинул на глаза кепку и пошел к грузчикам.

После отъезда Тони все как будто померкло. Веселые, беззаботные препирательства Егора Иваныча со Сваханькиным перестали занимать Никиту. Самсон Дурденев

ский куда-то неожиданно скрылся, не заплатив за квартиру. Егор Иванович видел все слабости этого человека, но старался быть о нем лучшего мнения.

— Ну, просто забывчивый человек. Собрался второпях и забыл, — оправдывал он Дурденевского.

— Не хвали, Егор, того, кто не стоит похвалы, — возражала ему Харитина. — Рваная рубашонка на шесте висела, его изношенные тапки на крыльце валялись — все взял. Ничего не забыл.

— Ладно, мать, мы от этого не обедняем. Молод еще, может, на самом деле забыл. Поживет, — умнее будет.

Вася Вьюгин приехал домой ликующее письмо, сообщая, что поступил учиться. Звал к себе Никиту, обещал тотчас же по приезде устроить на учебу. Он просил отца повлиять на парня и поскорее отправить его в город.

— Поезжай, — сказал Егор Иванович Никите. — Не сомневайся, не задумывайся, а собирайся и поезжай. Раз Василий пишет, что можно поступить, так это уж верно. Он у меня парень золотой, зря слова не обронит. Он вот какой — сначала сделает, а потом уж и скажет.

Письмо Васи Вьюгина обрадовало Никиту. Жизнь распахнула перед ним свои двери. И он войдет в них вместе со всей молодежью, стремящейся к знаниям. Егору Ивановичу не пришлось уговаривать — Никита собрался в город быстро и охотно. Тетушка Харитина напекла ему пирогов, Егор Иванович поднес ему „на дорожку“ три рюмки черносмородиновой, и Никита отправился. Провожали его на станцию Егор Иванович со Сваханькиным.

— Все только провожай вас; то один уезжает, то другой, — ворчал для порядка Егор Иванович.

— Так, так, — соглашался с ним Сваханькин.

Малость подвыпивший за прощальным столом, Егор Иванович даже всхлипнул:

— Уезжают, одних нас оставляют, а мы уже старые...

— Так, так, — подтверждал его слова Сваханькин.

— Ну ладно, мы все это переживем. — Егор Иванович осанисто выпрямился, приободрился. — Но только вы, черти, учитесь там во весь мах... Лучше всех учитесь. Так и Васюхе скажи.

— Так, Егор, так, — загорелся Сваханькин. — Все по делу идет. Пусть они, молодые, учатся, а мы поработаем, мы еще в силе держать жизнь на своих плечах.

На станции Никиту заметили грузчики, подошли поже-

дать ему всего хорошего. Юркий старик-грузчик ради торжественной минуты стряхнул с блузы муку, которую только что выгружал, и важно сказал:

— Конкретно учись, со всем старанием.

— Да, да, — дружно подхватила артель, — докажи, что и мы, грузчики, — народ башковитый.

Так же, как и во время отъезда Тони, уныло и глухо, как будто где-то в бескрайней дали, прогудел паровоз, так же незаметно, бесшумно двинулись вагоны. Никита стоял на лесенке последнего вагона, махал рукой и думал с сожалением и восторгом: „Она не знает, что я тоже уезжаю учиться“.

Выслушав комиссара, артисты толком не поняли: то ли кавалерийский полк возвратился из рейда по глубоким тылам, то ли собирался еще только в этот поход. Видимо, возвратился и собирался вновь.

Полк стоял в обширной котловине, густо поросшей лесом. Где-то стояли кони, люди, повозки, пушки, пулеметы, но ничего этого заметно не было. Артисты видели только сцену, красиво смастеренную из свежесрубленных березок, и большую группу красноармейцев, собравшихся перед этой сценой. Вышел конференсье, произнес несколько тонких и злых шуток по адресу врага, и лесистая котловина огласилась взрывами громового смеха красноармейцев. Первым выступал балалаечник. Виртуозностью своей игры он привел бойцов в неистовый восторг. Балалайка белой длинношеей птицей порхала и вилась вокруг музыканта. Ни на один миг не прерывая игры, он вскидывал ее вверх, ловил, проносил вокруг приподнятой ноги, вокруг туловища, играл, вскинув балалайку над головой.

Двое артистов — мужчина и женщина — удачно провели номер мнемотехники. Женщина — молодая, тоненькая и длинная, как растение, выросшее в тени, с глазами, завязанными черным фуляром, стояла на сцене и угадывала каждый предмет, оказавшийся в руках ее партнера, который ходил по рядам зрителей.

На сцене появилась девушка — полная, светловолосая, в красноармейской форме. Она мило, по-свойски улыбалась и кивала головой. Поднялся неистовый шум. Красноармейцы нескончаемо долго хлопали в ладоши.

— Наша Ната из санбата, — кричали бойцы. — А-а — Ната...

— Спой „Снаряжен стружок“.

— „На старой Калужской“ спой...

Это была девушка-военфельдшер. Вместе с комиссаром полка она встретила артистов, быстро познакомилась, подружилась с ними. Узнав, что она недурно исполняет русские песни, они включили ее выступление в свою программу, чем очень порадовали комиссара, а в особенности бойцов.

— Наша Ната из санбата, — кричали они и применительно к ее репертуару заказывали каждый свою любимую песню.

— Спой „Вот мчится тройка удалая“...

— Про молодого стрелка, Наточка, спой.

Ната спела почти все заказанные песни, ее долго не отпускали со сцены, до того долго, что она, наконец, отдохновенно набрала полную грудь воздуха, шумно выдохнула, махнула рукой и, смеясь, убежала со сцены.

Затем выступала молодая изящная исполнительница советских песен в светлоголубом, с большим вкусом сшитом платье для концертных выступлений. Она вела себя строго, спокойно, смотрела холодно. Ее имя красноармейцы знали по газетам, по выступлениям на радио. Ее выступление они встретили, как полагается встречать подлинное искусство, тишиной преклонения, предельным вниманием. Это была певица хорошей школы и владела она приятным, звучным голосом. С жаром, от глубины души идущим трепетом исполнив песню, она вдруг становилась спокойной, холодной и отдыхала, пока в котловине рокотали аплодисменты. Затем на минуту в этих лесных дебрях устанавливалась привычная глухоманная тишина, доносилось пение соловьев и отдаленное кукование кукушки.

В это время к певице подходил конферансье, подобострастно склонялся к ней и спрашивал, что еще она желает исполнить. Выслушав ее, он отходил и объявлял таким тоном, как будто поздравлял всех с большой радостью.

В стороне от котловины появился немецкий „Хеншель“. „Костыль вынюхивает“, — подумали красноармейцы, но никто из них не пошевелился, не обронил ни единого звука.

Певица в это время исполняла песню „На закате ходит парень“. Заметив разведчика, она удивленно пожала плечами, иронически усмехнулась и, перефразировав одну строку, пропела — „чего он летает, чего он летает“. Бойцы были поражены отважной невозмутимостью пе-

вицы, ее находчивостью, засмеялись и наградили щедрыми аплодисментами. „Костыль“ покружился в стороне над ложиной и, чем-то, видимо, очень удовлетворенный, поспешно повернул и быстро скрылся.

После концерта к певице подошел разбитной лихой боец с шашкой на боку, с автоматом на груди. Кроме того, у него была сумка с гранатами, противогаз да еще гранаты висели на поясе. В левой руке он бережно держал большой букет черемухи.

— Разрешите преподнести, — отчеканил боец, взяв под козырек. — От нашего майора, — подчеркнуто гордо заявил он и, опустив руку, шагнул вперед и передал букет. Актриса обхватила букет рукой и прижала к себе. Верхушка букета касалась ее губ. Она жадно вдохнула в себя запах черемухи и кивнула бойцу:

— Спасибо.

Но боец не уходил. Он вновь вытянулся, щелкнул шпорами и взял под козырек.

— Майор... он командует нашим полком — просит вас к себе.

— А где он?

— Мне приказано вас проводить. Майор вас ждет.

Боец повернулся и пошел. Певица последовала за ним. Они прошли дно котловины и стали подниматься по отлогому спуску в нее. На ровной лесистой поляне, террасой поднявшейся над котловиной, стоял большой шалаш. У шалаша под густолиственной березой стоял широкоплечий, могучего телосложения, загорелый, завидной упитанности командир. Он говорил лейтенанту:

— Отвести из ложины коней и повозки. Хватит — постояли на погляденье. Разложить костры умело... Небольшие, не бросающиеся в глаза, такие, как будто замаскированные... Скоро прилетят.

Когда он смолк, боец смело подошел к нему и доложил:

— Ваше приказанье, товарищ майор, исполнено, — вот они здесь.

— Хорошо. Можешь идти, — сказал майор, повернулся и направился к певице, пристально вглядываясь в нее. Он остановился в двух шагах и, протянув обе руки, громко проговорил:

— Ну, здравствуйте. Мы с вами, кажется, немножко знакомы.

Певица смущенно взглянула ему в лицо, скользнула взглядом по всей фигуре, увидела на груди яркую

клумбочку орденов и золотую звезду поверх ее. Уткнувшись лицом в букет, артистка подошла мелкими шагами и приникла плечом к нему. Майор положил одну руку ей на плечо, другой ласково провел по голове с простой, но очень красивой прической.



— Узнаете ли вы меня? — спросил он.

— Узнаю, но это так неожиданно и в такой обстановке, что все еще мне не верится. Вы Никита из...

— Ну, да, да, да — Никита из Шадрина, — обрадовался майор. — Тот самый, который на колхозном коне умыкал вас из рабочего поселка в деревню, был встречен погоней, разладил из-за этого с отцом, работал грузчиком, любил вас, тайно страдал, потом вы уехали учиться. Кажется, совсем-совсем недавно это было. А сколько лет уж с тех пор прошло.

— Подсчитайте точно — сколько же лет?!

— Сейчас прикинем. Я учился на рабфаке, потом подался в кавалерийскую школу, затем служба, год войны. Скажу точно — то было в тридцать третьем году.

— Правильно — в тридцать третьем, — оживилась артистка. — Вы тогда еще показали себя прекрасным кавалеристом.

— Это как же? — не совсем понял майор.

— Да, вы очень ловко меня подхватили, помчали. Я не успела даже опомниться.

— Да, но то было мальчишество...

— Нет, нет, — решительно возразила артистка, — то было красиво, романтично... Ночь... Конь... Чудесное лето. Я была юная-юная и купалась в первых лучах славы фабричного драмкружка.

— Может быть и не особенно красиво, но что поделаешь — меня заразила тогда эта первая виденная мною замечательная американская картина. Этого прекрасного американца Фредди Эмерсона я как сейчас вижу перед собой. Как он ловко и весело скакал на своем мустанге!.. И его чудесную девушку, похожую на Тоню Голубкину, помню и юную Тоню Голубкину тех лет, похожую на американскую киноактрису, помню и вижу, как наяву, стоит мне только закрыть глаза. Но одно несомненно — коней я любил тогда, верховой ездой увлекался и поэтому стал кавалеристом.

Майор смолк на миг и заговорил властно, по-хозяйски.

— Соловья, как говорится, баснями не кормят. Вы у нас сегодня соловей, а я что-то необычайно разговорился. Идемте в мою палатку, будем ужинать и разговаривать. Надо позвать ваших товарищей. Сейчас я прикажу. Красноперов! — Откуда-то из-за деревьев явился лихой боец, который приносил букет, и вытянулся перед майором.

— Позови ко мне артистов!

В шалаше на разостланной на земле плащ-палатке был приготовлен ужин.

— Присаживайтесь вот здесь на седло, — пригласил певицу майор, — а я рядом с вами сяду, а остальные тут вокруг разместятся.

Пришли артисты и с ними военфельдшер Ната, пришел комиссар полка.

— Комиссар, ты хозяйничай, угощай всех, а я вот за гостей буду ухаживать. Представь себе — земляками оказались, такая неожиданность.

— Даже счастье, я бы сказал.

— Именно счастье, — подхватил майор. — Мы сейчас так редко бываем счастливы. До войны в газетах писали, что мы живем счастливой жизнью, но людям казалось, что не совсем еще — того не хватает, другого недостает. А теперь все увидели, все почувствовали, что до войны мы жили именно подлинно счастливой жизнью. Знаете — я не свою мысль высказываю, об этом мне написал Егор Иванович. Помните Егора Ивановича из нашего поселка? — обратился он к певице. — Хороший старик.

— Егора Ивановича помню. Я всех там помню. Вы о них что-нибудь знаете — как они теперь там живут?

— Живут... После вот этого награждения, — майор тронул рукой золотую звезду на груди, — и они прислали мне свои поздравления и сообщили о себе. Оба старика-приятеля — и Сваханькин и Егор Иванович — ушли было на покой, но, как только началась война, вернулись на фабрику. Сын Егора Ивановича стал инженером, работает теперь где-то на аэродроме. Старикам очень хотелось внуков, но Василий так и не успел жениться. Егор Иванович пишет, что они с тетушкой Харитиной взяли на воспитание эвакуированного ребенка. „Мальчик прямо на Чкалова похожий, — пишет Егор Иванович, — такой хороший достался. Не отходит от меня, когда я дома“. А старик Сваханькин мне пишет: „На охоту я теперь не хожу, некогда, выполняю разную общественную нагрузку, а на оборону выращу в своем огороде четыреста корней махорки“. Четыреста корней — видимо, это много. Все это очень трогательно. Милые... Дорогие... люди. Их письма я перечитывал множество раз и помню наизусть.

— Кстати, о махорке, — заговорила певица, — я сейчас представляю себе наш поселок. Весь он в кружеве грядок, полдсок. Вскопали, наверное, каждый переулочек. Очень трудолюбивый народ. Помните, какие у нас выращивали помидоры. Массивные, мясистые... Приятно все вспомнить — это родное, земное, близкое, что вскормило-вспоило нас. Вот мы теперь, как говорится, стали людьми — я певица...

— И даже знаменитость.

— Ну, согласимся, — знаменитость... Вы — майор, Герой Советского Союза... Но мы вышли оттуда, набрались там сил, дарований, если они, будем скромны, у нас имеются. Там глубина, толща народная, там корни народа работающего, твердого, веселого, ушмешливого. Таких людей, как мой отец, Егор Иванович, Сваханькин, никакие бедствия не сломают. Они осердятся, подтянутся, уцепятся крепче за землю, за фабрику и вынесут... Да, здесь, на фронте я встретила Федора Широкова. Помнишь этого богатыря, флегматика.

— Федю Широкова — как не помнить...

— Он поваром в одной из частей. Очень вкусно накормил нас. Кухня у него в перелеске, в такой пещере из веток... Налетели немецкие самолеты, все укрылись в щели, а Федор остался орудовать у своих котлов. После

ему заметили: „Почему ты не укрылся?“ — „А я, говорит хорошо замаскированный“.

Вдали послышался гул приближающихся аэропланов. Майор с комиссаром переглянулись, но не двинулись с места. Артисты тревожно всмотрелись в них, но не заметили волнения в чертах их лиц и успокоились. Комиссар налил всем вина и принялся усиленно угощать. В шалаше стало шумно, Ната тихонько запела песню...

Вскоре в стороне раздался страшный грохот, шалаш качнулся, в стаканах колыхнулось вино. Артисты побледнели. Они сидели и полулежали на разостланной плащ-палатке, устремив взгляд в землю.

— Не беспокойтесь, товарищи, это далекоовато от нас, выпейте по маленькой для успокоения нервов, — сказал комиссар.

Зазвонил телефон.

Майор неторопливо снял трубку, некоторое время молчал, слушая донесение, потом заговорил:

— На низкой высоте... Видимость хорошая... Рассвет забрезжил... Можно. Но уж по-настоящему, всеми средствами, чтоб жара была, кипело все...

Майор повесил трубку и продолжал с певицей разговор. Она интересовалась — за какие подвиги он получил ордена. Он рассказывал о битвах, о рейдах по тылам врага. И почему-то она все слышала: полк... полк... Полк совершал большие боевые дела, а майора как будто тут не было, она ничего из его уст не слышала о майоре.

Фашистские самолеты делали все новые и новые заходы и сбрасывали бомбы. Глухоманный лес смертельно мучился в грохоте взрывов, усиленном перекатным эхом.

— Вы очень хорошо себя ведете, легко переживаете эту музыку, — заметил майор.

— А я уж много раз была под бомбежками.

Новый грохот взрывов потонул в такой пальбе, что, казалось, трещала, разрываясь на части, на куски, на мелкие ластышки и клинышки, вся земля.

Били из противотанковых ружей, зениток, пулеметов, автоматов, винтовок. В этом хаосе непрерывной стрельбы певица различала звуки всех родов оружия, она уже хорошо знала музыку войны.

Грохот взрывов прекратился, но стрельба не ослабевала, изредка ее накал прерывался глухим падением чего-то тяжелого на землю.

— Хорошо стреляют, — сказал майор.

— Эффективно, — сказал комиссар.

— Потом сразу стихло, как будто после тягчайшей агонии умерло все вокруг.

— Вот и кончилось, — сказал комиссар артистам, — можете теперь отдохнуть, товарищи.

В шалаш вошел какой-то военный, закутанный в бурку, и доложил командиру полка:

— Фашисты бомбили лошину. Зенитным и стрелковым огнем сбито четыре бомбардировщика. Три летчика взяты в плен. Двое отстреливались и зарублены, остальные экипажи сгорели в воздухе. Огнем руководил старший лейтенант Хмельников.

— Хмельников хорошо организовал огонь, — проговорил майор, — составьте, адъютант, об этом записку...

За шалашом слышались приглушенные голоса бойцов. Прошла фронтовая ночь. Там и тут зачирикали, засвистели маленькие лесные пичужки. По лицам людей невольно прошла обрадованная улыбка. Жизнь... Было даже удивительно, как это они, эти пичужки, пережили эту ночь грохота и пальбы и сохранили бодрый дар пения.

Комиссар вышел из шалаша и скоро вернулся:

— Какое наступает роскошное утро. В такое утро — стихи только писать. Жалко, что я не поэт...

— Стихи... — проговорила артистка. — Никита, Вы помните Самсона Дурденевского...

— В одной комнате у Егора Ивановича жили...

— Тут в газете недавно промелькнуло, что младший лейтенант Дурденевский бутылкой с горючей жидкостью фашистский танк поджег... это, по-моему, он.

— Молодец, Самсон... Наверное и стихи он теперь стал писать лучше, ощутив на войне большие чувства.

... — Мы бы их вам сами доставили, — раздался за шалашом уверенный, густой голос того бойца, который вчера вручал букет.

— Мы не можем долго ждать, — отвечал другой сердитый настойчивый голос, — у нас гвардейская часть... Мы отдыхаем, у нас есть настроение послушать.

— У нас тоже настроение после месячной прогулки по тылам, и если вы можете кое-что понять, то запомните, что находитесь тоже в гвардейском полку.

— Вот видите — за нами приехали, — встрепенулась певица, — будем собираться и сейчас поедem. Спасибо вам, майор, и вам, комиссар, за чудесно проведенную ночь.

— Ночь поистине была чудесная, но жаль — вы ни на минуту не уснули, — вам будет сегодня тяжело, — сказал майор.

— Это ничего, — бодро отозвалась артистка. — Моя

мать любила говорить: „Из сна шубы не сошьешь“. Она обычно ложилась не спать, а только „вздремнуть немножко“. Выспаться ей было как-то все некогда. Вот и мы сегодня по дороге вздремнем немножко, а потом будем выступать.

Сборы были недолгими. Минут через десять артисты были готовы к отъезду и усаживались в тачанку.

— Вот и опять расставанье, — грустно проговорил майор.

— Да, опять расставанье, — вздохнула певица.

— Короткие встречи и опять расставанья, — тихо, задумчиво проговорил майор, — ничего не поделаешь.

— Когда же — нибудь мы встретимся с тобой надолго, по-настоящему, — властно и взволнованно сказала певица.

— Должны встретиться... Обязательно надо встретиться, — горячо отозвался майор.

— Я буду верить, Никита.

— Я верю в это, Тоня.

— Ну, до свиданья, дорогой мой, будь здоров и счастлив. — Певица медленно подошла к майору, обвила его шею рукой и крепко поцеловала. Было это искренне, просто и тронуло окружающих. Они даже не переглянулись между собой.

Красноперов стоял в стороне и восторженно смотрел на своего командира. Он не выдержал и похвастал коннику из отряда сопровождения:

— Вот у нас майор: одно слово — орел. В одну ночь в него знаменитая артистка влюбилась.

Никита бережно посадил Тоню в тачанку. Лошади зацокали копытами по лесной дороге.

Майор долго стоял на полянке и смотрел вслед.

„Эх, как она его за сердце-то взяла“, — подумал Красноперов, поглядывая на командира из-за кустов.

Майор вдруг резко повернулся, потребовал коня и поехал осматривать полк.

Июль 1942 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Петряевский мельник	3
Никита Кобозев	9
Уважительная причина	15
Сергей Никитич и Константин Петрович	20
Мягкое сердце	38
Три друга	47
Тихий зверь	51
Гермес	55
Расставания	60



Редактор *М. Х. Кочнев*. Художник *Н. Я. Соколов*.

Подписано к печати 18.V.1943 г. КЕ—181. Печ. л. 6. Уч.-изд. л. 5,5.
 В печ. л. 36720 тип. зн. Тираж 5000 экз. Типография издательства
 Ивановского областного совета депутатов трудящихся. Иваново, Типо-
 графская, 4. Заказ № 5906.
 Цена 2 руб.



2 РУБЛЯ

